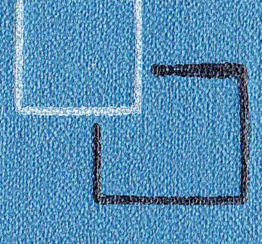
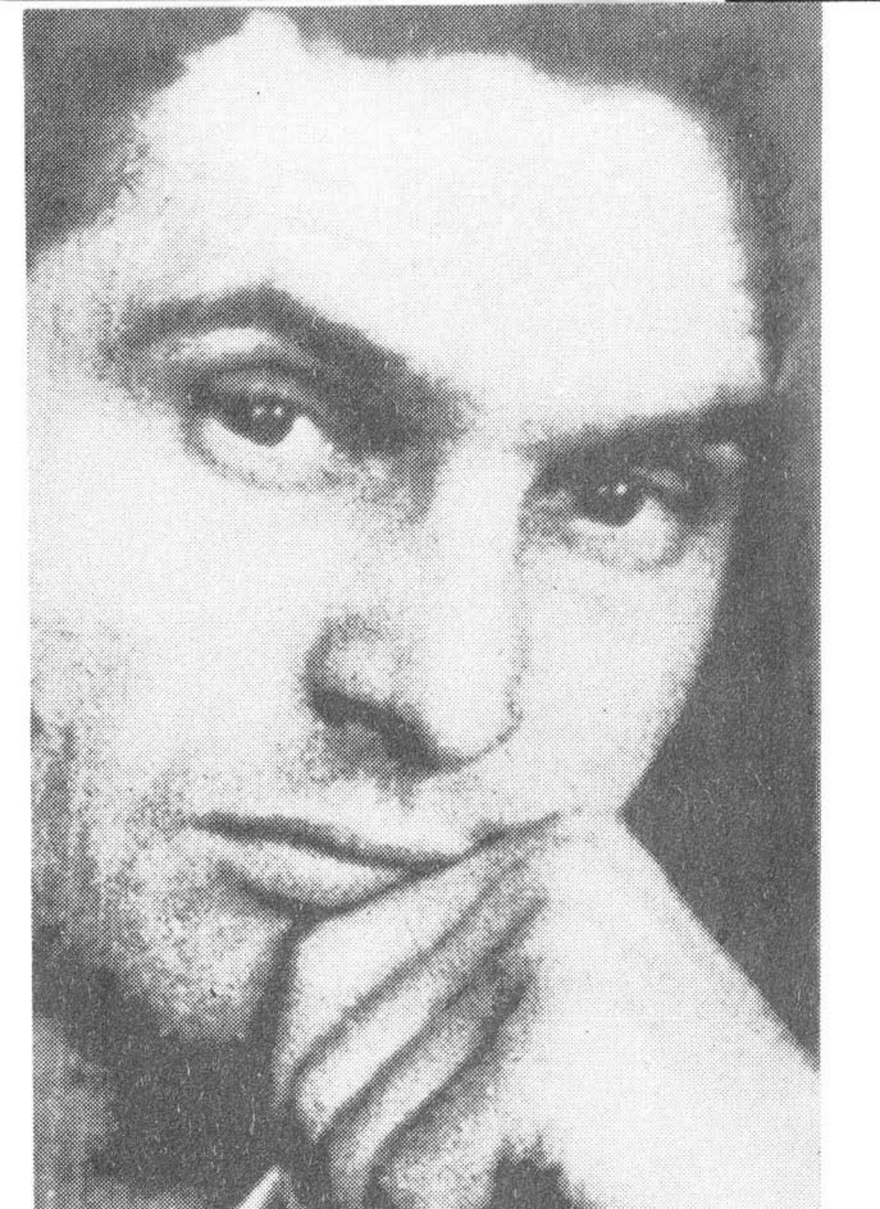

кр Р2-8
П92
Анатолий Пчелкин
Глубина вздоха

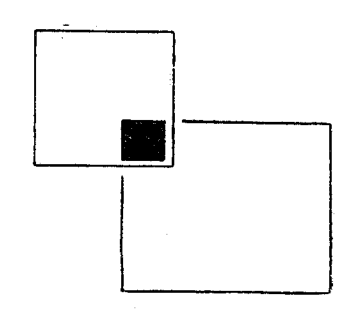
Анатолий Пчелкин





Поэзия — эхолот,
промер глубин неизвестности.
Приникни ухом к душе
и слушай,
как она бесконечна!..

Анатолий



Пчелкин

Глубина вздоха

Стихи разных лет

39725-12

Магаданское книжное издательство 1989

Хас... ...БС
Магаданская обл.

ББК 84Р7-5
П 92

Художник В. А. ГАЛИМУЛЛИН

П $\frac{4702010200—031}{М—149(03)—89}$ 10—89 ББК 84Р7-5

ISBN 5—7581—0065—X

© Магаданское книжное издательство, 1989

* * *

И. Осмоловской

В середине каменного века
мерзко на душе
у человека.

До утра он хмурится, не спит,
сам не знает, что его тревожит.
Не поможет человеку спирт,
сигарета выручить
не может.

Нет еще вина и сигарет.
Нету славы, подлости, богатства.
Мирно спит пещерное собратство.
И лишь он,
смятением согрет,
шепчет вслух:
покоя в мире
нет...

Вот он —
долгожданный перелом!
В этот час — не голоден, не ранен,
в обществе себе подобных
равен
каждому
и силой и умом —

человек нащупывает грани
самого себя
в себе самом.

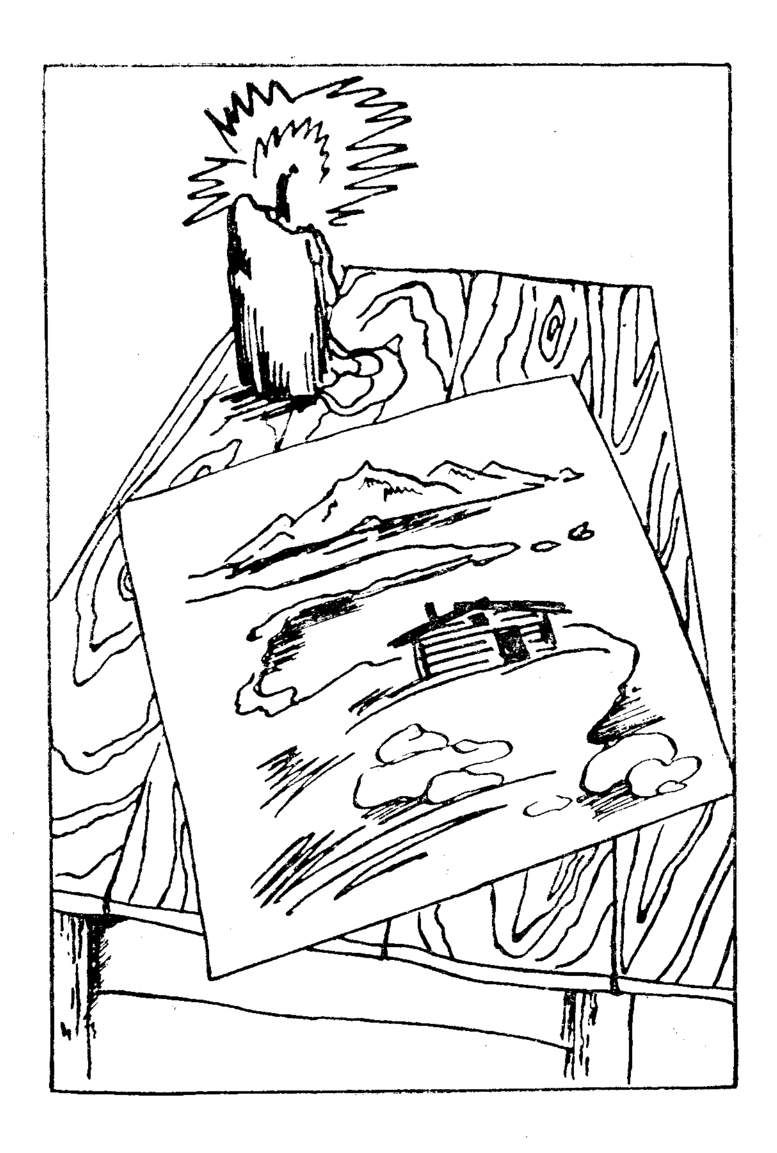
В толще допотопной темноты,
с помощью и сердца и рассудка,
миг — и осознает он,
как жутко
в нем противоборствуют пласты:
ощущенье полного желудка
с чувством
неуемной пустоты!

...За веками пролетят века,
бурные пройдут тысячелетья.
Посреди тайги,
у костерка
буду в глубь души своей
смотреть я
в страхе и смятенье — оттого,
что и сам не ведаю ответа
на вопросы предка моего
середины
каменного
века.

— Мотылек, ***мотылек,***
ты куда?

— На огонек!

Земля зимы



ПЕРЕД ВЫХОДОМ В ПУТЬ

Я хочу положить
тебе руки на плечи крутые,
глубоко-глубоко в синь-озера твои заглянуть,
мать моя, жизнь моя, вдохновенье мое,— Россия!
Дай окинуть тебя,
дай вглядеться в тебя перед выходом в путь,
дай испить твоих рос
и рассвета напиток тяжелый.
Я вернусь. Не грусти.
Ну а если, картечью прожженный,
упаду на снегу,
всю планету к сдающему сердцу прижав,—
вспомню эти глаза,
этот пристальный взгляд обнаженный,
вспомню тропы и трассы,
которыми все же прошел,
и спокойно усну —
как сегодня и нежный, и сильный,
как сегодня хмельной
от твоей предрассветной росы.
Проводи меня, Мать.
В путь нелегкий собрался твой сын.
Пожелай мне широкой,
неторной дороги,
Россия.

1960

* * *

Как свободно,
как просторно стало разом на земле!
Вот хожу я во все стороны по лету и зиме —
как по собственной светлице.
Лишь границ не видит взгляд
да уютно половицы под ногами не скрипят.

Но зато скрипят метели да бураны — ух белы!
Да поскрипывают лиственниц червленые стволы,
да костей моих уключины покрякивают зло,
всем премудростям обочины обучены зело.

О природа, моя матушка, работать мне вели!
Строить храмы и хоромы на Устюге и Нерли,
пробиваться вдоль Сибири, вдоль истории самой,
чтобы дети полюбили,
дабы внуки не забыли
да ракеты
в клубах пыли
мирно плыли
надо мной...

* * *

До бухты Нольде
ровно шестьдесят.
С чаевкой
в два приема одолеем,
и, ежели в пути не околеем,
окажется все прочее —
пустяк.

Мороз. Мираж. Торосы...
Пустяки!
Едва дойдешь до цели или метки —
все окупают путные стихи
и путевые
беглые заметки.

От Биллингса до Нольде
шестьдесят.
А не дойдем —
любимые
простят.

* * *

Зима сегодня бесконечна.
Морозно солнце. Даль остра.
Колючий снег кружится нервно
над головешками костра.

Но жмутся к тоненькому дыму,
промозглым инеем пыля,
потрескавшиеся,
седые,
приземистые тополя.

И это — все...
Зима. Россия.
Полярный круг перелетев,
сугробов линии косые
бегут по вечной мерзлоте.
В своей
суровой
чистоте.

* * *

Среди зимы, в полярной полумгле,
изба моя напоминает остров.
Ее полуразрушившийся остов
о том всю жизнь наскрипывает мне.

Он чувствует биение ветров,
приливы снега, времени теченье
и тыщу лет, прищурившись хитро,
льет в темноту свечи моей свеченье.

А та горит — как маячок судам всем,
настойчиво стремящимся к удаче,
заблудшим, затерявшимся во мгле.

И стеарин стеклеет на столе.
И тихо в суверенном государстве
на медленно
вертящейся
земле.

* * *

Не курлычут журавли. Не летят.
Лишь сугробы вдоль по улицам лежат.
Вдоль по улицам метелица метет
третьи сутки. Третий месяц. Третий год.

Белорыбица колотится об лед,
плавниками затухающими бьет,
иней белый покрывает чешую...
Кто там любит лебедь белую мою?

Улетела лебедь белая на юг,
где неделями метели не поют,
переметы вдоль по рекам не лежат,
рыбаки подледной ловлей не грешат.

Нарожает лебедиха лебедят,
с новым выводком воротится назад
и увидит, как у проруби об лед
лебедь крыльями израненными бьет..

ПРОХОЖИЙ

Человек уходит в ночь.
Эй,— кричу ему.— Опомнись!
Я хочу тебе помочь,
позови меня на помощь.
Погоди. Не уходи.
Погаси мою тревогу,
ведь заблудишься один,
человечина, ей-богу!

Все на свете маета,
эвон снег — напропалую!
Эти гиблые места
даже местных не балуют,
сколько их нашло приют
так вот, в снежной карусели,—
уж и счет собаки съели!
Зря, конечно, люди пьют.

Горе — горькой не зальешь.
Спирт скорее душу выест.
Горе можно только вынесть,

а иначе — пропадешь.
Боль мы все в себе несем,
да ведь надо знать дорогу!..
— Вот и дом твой.
Вот и всё.
Человечина, ей-богу...

СТАРЫЙ ЧУКЧА

...Идет тюлень, гребет тюлень
на сладкогласье кантилен...
Илья Сельвинский

Он патефон любил, как нерпа,
ведь был
единым слухом зряч.
Злой келе не дал видеть небо —
просил:
хоть музыку не прячь.

И в час, когда заря крутая
вскипала на речной косе,
он уводил свой ящик тайно
подальше,
в сторону от всех.

Не понимаю, что скрывал он,
как слушал музыку зимой,
когда под снежным покрывалом
река и берег, а в самой
яранге —
дым столбом
и тесно:
собаки, дети, пастухи...

Ну как в ней слушать, скажем, песни
или — тем более — стихи?..

Он патефон любил,
как нерпа.
Под шкурой утреннего неба
свой черный ящик открывал,
крутил скрипучую пружину,
кряхтел
и был доволен жизнью,
которой, в сущности, не знал.

Иголка старая свистела,
и сквозь ее морозный свист,
просачиваясь то и дело,
Эдита Пьеха толсто пела
и тонко ныл
саксофонист.

...Он патефон любил,
как нерпа,
и, засыпая на траве,
все ждал,
когда ударит небо
веслом по круглой голове.

БУНТ ВЕЩЕЙ, СОБАЧИЙ ХОЛОД

Просыпается село.
Двери стонут тяжело.

Двери всхлипывают, плачут,
будто жалуются на
тех, кто будит их, а значит,
ни про что лишает сна.
— Скрип-скрип!..
Вскрик? — Вскрик.

Просыпается село
Окнам тоже тяжело.
Стекла в них озябли за ночь,
больно звякать. Извини.
Но ведь бьет жену Иваныч
по утрам — не то чтоб на ночь! —
хошь не хошь, давай — звени:
— Дзинь-дзинь!..
День? — День.

Просыпается село.
Всем сегодня тяжело.
Старый пес соседской суке
подвывает в пустоту:
— Лапы стынут. Были б руки —
так совсем невмоготу б.
— Гав-гав!..
Гол? — Бос.
Пес не в рифму. Старый пес!

Просыпается село.
Встану молча, всем назло.
Пробегусь до поворота.
Только где он — поворот?
Где колхозные ворота —
сам народ не разберет.
— Эй, снег!
Их — нет?..
(Да окстись ты валить, оголтелый! — вон уж
и крыш не видно...)

— Эх-ма!
Зи-ма...

ВЛАСТЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

I

Председатель колхоза
Панин
Александр Иванович
сник.

Как на голову
летний снег,
на него
нелады
упали.

Покатились цифири вспять
вопреки,
супротив законам.
Не дают человеку
спать,
даже пить не дают
спокойно.

И теперь он
совсем не пьет,
дух содержит
в тверезом теле,
сокрушается:
«В самом деле,
ведь не спали ж мы
целый год?

39725-62

Ведь работали
целый год!
Так куда же,
в рот пароход,
показатели наши
делись?!»

2

Александр Иванович Панин —
председатель.
Железный! — парень.
А во гневе с медведем схож,
лишь глаза горят ошалело:
«Нету друга, в рот пароход,
одиночество одолело.
Я ж в колхозе один как перст
среди пьяниц и шалопаев...»

Это что же выходит, Панин?
Ты — трагичная личность, Панин.
Жизнь тебя обожает, Панин,
но за логику эту
съест!

3

Далеко-далеко окрест
ни души, ни села, ни города.
И никто здесь не знает голода,
и досыта никто не ест.
И считать бы уж впору
хлебом
в заполярном этом селе
белый снег
вперемешку с небом,
остывающим на земле.
Но никто того не считает:

председатель им
не велит.
Белый снег над селом витает.
Белый хлеб на прилавках тает.
Председатель
чубы листает,—
ажно стон над селом
стоит.
И стоит кругом,
завывая,
хоть сугробом в нее ложись,
горевая их, снеговая,
непутевая, в общем,
жизнь...

4

Тяжело храпит председатель:
уработался — свет не мил.
Самого бы какой родитель
отмутузил
да покормил.
Да уж нет на него управы,
окромя самого себя.
Сам собой, извините,
правит,
самому себе
и судья.

Смех и грех!
Ну скажи на милость,
ведь какой над собою
суд?
Сам себе он себя
не выдаст,
а другие
не донесут.

Да к тому же
минувшим летом
всех строптивых и заводил
председатель
с «волчьим билетом»
из колхоза
выпроводил.

Только
        дела тем
не наладил...
В жарко вытопленной избе —
сам с собою,
сам по себе
тяжело
        храпит
                председатель...

5

Александр Иванович Панин —
председатель колхоза...

Барин!
Безраздельный
                удельный
                        князь!..
— Нахозяйничал, леший?
        Слазь!..

1967 г. *м. Биллингс*

* * *

Е. Рожкову

Весна не весна. И не лето.
Лишь теплые эти пары́
да белые ночи, лишь это,
поди, основная примета
отнюдь не осенней
поры.

Но реки белы и недвижны.
Но пыльные тропы черны.
Но прямо за городом — лыжни:
еще иль уже? —
а видны.

В каком-то большом межсезонье,
воистину — пламень и лед! —
косясь на багровые зори,
с опаской и грустью во взоре
в грядущее
        город идет.

Но стоит приблизиться к порту,
и встанешь как пень, оглушен.
Выходит,
подспудно в работу
мой город уже погружен.

И что-то, выходит,
                творится,
взрастает во чреве двора,
чему не пора отвориться —
готовиться только
пора...

1969

СВЕТ СНЕГА

М. Асламову

Как видно, снег
поклонника нашел.
Он шел всю ночь.
Он всю неделю шел.
Он шел весь год,

из года в год,
и вот
тринадцатую зиму
он идет.

А я не понимаю,
почему
бредут снега к порогу моему,
зачем и отчего он —
мой порог
у ног зимы
задумчиво прилег.

И не пойму,
кто шепчет в полутьме:
зима порогу
иль порог зиме,
что нет любви
и где она — невесть,
вот разве что
привычка
в мире
есть.

Привязанность
не сердца одного,
а всей судьбы,
характера всего
к тому,
что и постыло и смешно,
да быть иначе,
в общем,
не должно.

И нет в том обреченности
ничуть.
Лишь тихий свет,

означивший твой путь
и
болью
возвышающий в крови
привязанность
до степени
любви.

...Ветра свежая струя,
солнышка колечко, —
комсомолочка моя,
алое сердечко!..

АЛОЕ СЕРДЕЧКО

Поэма

Рае

1

Белый холод. Зима.
Вековая стужа.
Сибирь,
Колыма,—
есть ли что хуже:
то метель,
то пурга,
то разгул снега.
Простирает берега
забубенная тайга
от земли до неба.

Города не за горой,
но меж двух селений
ни дороги порой,
ни тропы оленьей.
Сам-то век давно не тот
(в громе самолета!).

Ну а здесь и самолет
санкам фору не дает.
Тут Прогноз
веревки вьет
из Аэрофлота!
Потому-то,
что скрывать? —
вышнему начальству,
чтобы не запурговать,
здесь доводится бывать
разве в год
по часу.

Так что в целом
край — не ах.
Но не страх, по сути.
Ведь живут и в тех местах
такие же люди,

не клянут житье-бытье
и справляют смело
невеликое
свое,
но большое дело.

Человеку что
зима? —
он и с ней сроднится.
А Чукотка ль,
Колыма —
не грозила бы сума
да была б жива
сама
русская землица!

Тут механика проста.
Но в текущей жизни
гайка гайке —

не чета,
есть и сложные места
в этом механизме...

2

Ворковал самовар
на столе широком.
Зло южак завывал
за границей окон.
Радиола плыла.
Тяжко Пьеха пела...
А хозяйка
была,
как морская пена.
В белом платье,
легка
и зеленоглаза...

Ох, летит с языка
банальная фраза:
не девица —
Любовь! —
кланяясь учтиво,
нас вела за собой
и была притом
собой
хороша на диво.
Не пустой красотой —
приложеньем к платью,—
покоряла добротой
и российской статью,
обаянием брала,
щедростью великой!

...Витька
ножку стола

ковырял
вилкой...

3

Виктор Кей —
моторист.
С небольшим стажем,
но — большой специалист,
прямо скажем.
Все машины в селе
с ним знакомы лично
и работают все
отлично.
Знать, подыскивал сам
(да и кто лучше б?)
к их железным сердцам
золотой
ключик.
Отчего же
печаль
сушит
губы?
Нет в комплекте
ключа
от сердечка Любы?
И отмычки нет?..
А и впрямь — нету...
Меркнет белый свет.
Снег летит
по свету.
Холодок
на душе,
морозец по коже...
«Объяснялся уже».
«Так что же?»
«Сто причин привела.

И судила верно.
И понять поняла,
а любовь
отвергла.
Я и с лаской,
и так —
парень не из хилых!»
«Брось,— сказала,—
чудак,
в мужья берут
милых,
чтоб идти далеко —
солнечно ли,
лунно...»
«Говорит она
легко,
а живет
трудно...»

4

Заморожено окно.
Взвихрена дорога.
Пьет девчонка вино,
костерит бога.

Господи! —
ну как ей быть?
Снег летит по свету.
Очень хочется любить,
а любви
нету.

Есть ребята ничего,
но не для полета.
Полюби поди его —
разменяешь торжество,

угодишь в болото.
У него под сердцем
еж,
у нее — синица.
Тут за здорово живешь
не объединиться.

В белом холоде зимы,
в непроглядной стуже
согреваться
взаймы
и того
хуже.

Чует всею душой
холодок под кожей:
не согреет чужой,
не поймет
прохожий.

И она живет, живет.
Боль под крылья прячет.
Любит Родину,
а вот
вечерами плачет.

«Отчего я так слаба,
для чего упряма?
Неужели
судьба
вся в твою,
мама?

Обманувшись в одном,
в уголок забиться,
и пускай под окном
толпы дней, лица,—
не встречаться с людьми,
постареть за год?..

Ах, мамуля,
твой мир
чересчур замкнут.
Золотая голова
холодна напрасно.
Как ты там
ни права,
а и то
несчастна...»

5

Вечер шел чередом
по своей орбите.
Чай и танцы, потом
снова чаепитье.

Вот и взмок,
изнемог,
ржавый зуб оскалил
лучший в мире стрелок
Кергенто-Ческальгин.

«Ну и сай! — говорит,—
не пывал такого!
Какомэй! — говорит,—
сам во рту горит,
да исо норовит.
Осенно толково!
За такой веселый сай,
стоб запоминаться,
нам с хозяйкой
невзнасай

надо
селоваться!..»

И торжественно пыхтя,
на забаву клубу,
как влюбленное дитя
дед глядел на Любу.

А она
чаи пила,
Пьехе подпевала.
Веселилась, как могла,
и что грустною была,
ото всех скрывала.
Ибо танцы,
чай,
смех
до седьмого пота —
отдых, все-таки, для всех,
для нее —
работа.

Трижды будь невесела,
хочется ли, нет ли,—
на виду всего села
чтоб глаза
не меркли!

Не затем спешил народ
на огни клуба,
чтоб увидеть,
как ревет
комсомолка
Люба!

Разве шли они на чай?
Шли к теплу,

к свету.
Так что, Любушка,
встречай,
весели да привечай.
А печаль?
Да что ж печаль? —
А в ком ее нету!

Тут куда ни оглянись —
люди ж всё,
люди!
Вон как высох
моторист
по тебе,
Любе.
Черный,
как морской песок,
будто скол скальный,
не по юности ль
иссох
дедушка Ческальгин?

А пойди повороши
все людское море,—
у кого на дне души
нет беды,
горя?

Но текут,
бегут года.
Поглядишь вскоре,—
ан и горе
не беда,
и беда
не горе!

6

Чай остыл. Умолкла Пьеха.
Все ушли. И только эхо
в воздухе еще дрожит.

Гаснет свет под крышей клуба.
Никого. И только Люба
эхо это сторожит.
В тишине,
как в чаще ветка,
нервно хрустнет сигаретка.
Тень качнется на стене.

Много раз она
качнется,
пока новый день начнется,—
новый день
в суровой, дальней,
чуть обжитой стороне...

1971

СТАНЦИЯ

Нежно, светло и горько
в памяти оживет
станция Рутченковка,
послевоенный год.

Карточки. Голод. Холод.
Горе да лебеда.
Мимо окон
гремят и гремят куда-то
длинные поезда.

Я еще не мечтаю
вслед за ними бежать.
Щи крапивные уплетаю,—
на ночь крылышки обретаю,
чтобы во сне летать.

Я о жизни не беспокоюсь,
и не вижу я ей конца.
Лишь полгода
как с фронта поезд
мне привез живого отца.

Пусть не больно он ласков к сыну,
я-то вижу:
едва живой,
тяжело разгибая спину,
после смены он месит глину,—
скоро дом у нас будет. Свой!
Дом саманный. Полы — доливка
(помесь глины и кизяка).
А еще у нас будет калитка.
А сосед подарил
щенка.

А вчера мне тетрадь купили —
настоящую,
в три косых!
Вспомнить страшно:
тетради были
подороже вещей иных...

Впрочем,
то не моя забота.
Жить мне радостно и светло.
Лебеда растет — у забора,
а крапива — у косогора,—
повезло!

Повезло, что разбили фрица,
что вернулся домой отец,
что он мамой моей гордится,
повезло и в том, наконец,
что ушастый
худой птенец
с новой силой заставил биться
клетку каждую
двух сердец.

А вдоль станции
Рутченковки —
поезда,
словно санки с горки,
с залихватским свистом летят,
и, не ведая о Чукотке,
вслед гудкам их
мои погодки
безмятежно пока
глядят.

* * *

Реки таежной
шорох тихий,
полет неспешного орла,
земля, объятая брусникой,
как пламенем.
Дыши, пиликай
и жизни радуйся великой,
что чередою многоликой
здесь испокон веков
текла.
Но где ты был в ее начале,
когда угрюмые валы

ковчеги пращуров качали,
положим,
вон у той скалы
и столь же лютые орлы
их с тем же клекотом
встречали?

Где был ты в середине лет,
когда иные поколенья
пришли сюда,
чьи поселенья
доселе ищет Новый Свет,
а их следов
простыл и след?

И вот еще одну эпоху
где ж отсиделся ты, ей-богу,
кем увлечен, чем занят был,
покамест прадеды баские
все шли и шли на край России,
царю с министрами
челом
бия о будущем
твоем?

Пласт новый — и не шевели!
Ведь разговор не с сыном века,
а с вечной сутью
человека —
кровинки матери-Земли.

Итак,
ты все-таки ответь мне,
что все же сделал ты на свете,
на что надеется,
спеша

вслед песне ль,
за полушкой медной
или за должностью победной,
твоя
    свободная
        душа?..

* * *

То снег, то дождь.
Тайга. Трясина.
Чаи у долгого костра.
Валюсь под вечер,
        как лесина,
и умираю. До утра.

А там опять —
лопату в руки,
и — лейся, золото, рекой!
И никакой тебе науки,
литературы
никакой.

Но и внутри непримирима,
и неприступная извне,
тоска
    по совершенству мира
и здесь дышать
мешает
мне.

* * *

...Но так же,
как из года в год
заря за окнами встает,

как лес корнями шевелит,
как по утрам спешит народ,
стуча скорлупками калит,
как не стареет неба свод,—
так по ночам
(не первый год!)
душа болит,
душа болит.

ОХРАННИК

Охранник дремлет
в будке дровяной.
То бросит взгляд в окошко, то на чайник.
На промприборе вроде как начальник,
он нехотя беседует со мной.

Чего да как — на все ему плевать.
Кого бы мы в кумиры ни избрали,
ему бы только золото не крали,
колоду бы не вздумали
вскрывать.

А за окном —
гремучая весна!
Пронизанная свежестью и светом,
ни отдыха не ведая, ни сна,
вся в половодье,
гонится за летом.

Ну чем его, сердешного, пронять?
Я медленной тоскою закипаю.
— Далось тебе,— сочувственно вздыхаю,—
железо от народа
охранять.

Небось, и лет не больше тридцати,
и по утрам ворочаешь гантели,
а весь талант
содержишь взаперти,
во всяком разе
не при добром деле.

— Помалкивай! —
он строго говорит,
а взгляд на трехлинейку переводит.
Не то чтобы в нем ненависть горит,
но что-то с ним,
должно быть, происходит.

И он с окна махорку достает,
сворачивает крепкую цигарку.
Прикуривает. Морщится. Встает.
Опять садится. И опять встает,
собой заполоняя всю хибарку,
косясь то на окно,
то на заварку.

А я в него
пронзительно гляжу.
Насквозь, как будто взглядом понимаю.
Но что ищу — того не нахожу.
А вижу что,
того не понимаю.

И длится это
много лет подряд.
Я все гляжу,
а он все прячет
взгляд.

1963

ИЗЯ ФИШЕР

Прежде чем сдать металл в золотоприемную кассу, старатели сушат его, отдувают шлихи, а собирают золото в пузырьки или капсулы, которыми чаще всего служат стреляные ружейные гильзы.

У Фишера не варит котелок.
Он золото ссыпает в котелок
и долго его сушит в котелке,
висящем на таежном костерке.

Горит, горит веселый костерок,
продрогшего старателя суша,
и жадно греет Изя кисти рук,
поскольку в них
вся Изина душа.

А за спиною Изи — ни души.
Хоть песни пой, хоть «Барыню» пляши,—
на все смолчит, сурова и строга,
остылая колымская тайга.

У Фишера не варит котелок.
Вот чуть остынет медный котелок,
и золото...
(— Ах, золото? Пардон!..)
он ссыплет вместо пороха
в патрон.

Как стар на Изе черный патронташ!
Как сам он стар. Как стар его шалаш.
Как стар у ног утихший костерок
и в головах —
остывший котелок.

А звезды в небе — молоды, белы,
подмигивают:
— Вот же мы, беги!
Оставь Тайгу, Костер и Котелок
и жми сюда,
не чуя рук и ног...

Но он постелет куртку в голова
и с горьким свистом выдохнет слова:
— Кого земля
поила и кормила,
тот из дерьма
не делает
кумира.

1968

СТАРАТЕЛЬ

Год ли, два
мужику до пенсии?
Может, срок и того длинней.
Человек гулевой профессии,
вряд ли он доживет до ней.

Ну а ежели и дотянется —
что сулит она мужику,
если сердце
у полдистанции
остановит на всем скаку?

Жил он в ярости,
жил он в горести,
по тайге вековой кружил,
и отвыкнуть от этой скорости
у него уже
нету сил.

Ах, как ломится дед!
Сквозь заросли.
В царство призраков и теней.
Сломя голову —
вон —
из старости,
но уже по колени
в ней.

ОТШЕЛЬНИК

Гудел огонь в «железке»,
над лесом ветер выл.
А он сидел,
полешки
в печурке шевелил

и, старясь ощутимо,
лишь вслушивался, как
жестокая щетина
восходит
на щеках.

Ни ужаса, ни боли.
Лишь седь над головой —
как брошенное поле
с полынною травой.

Спокойная рубаха
белела на плечах.
А мы искали
страха
в расширенных очах,

мы ожидали стона
и злости из-под век...

Но вел себя
достойно
во времени просторном
заблудший
человек.

* * *

Наслушаться песен и басен,
уснуть и увидеть во сне
свой путь,
что уж как ни опасен,
а в яви — опасней вдвойне.

Но если проснуться, то с тем лишь,
чтоб с первых рассветных минут
отчетливо знать:
что посеешь,
то внуки твои и пожнут.

А к вечеру — тот же вагончик
и так же ни зги впереди,
и кто-то хохочет,
хохочет
с трагическим свистом
в груди.

* * *

Не ходи тропой лесною,
безоружный человек.
Там, за елью и сосною,
тишина стоит стеною,
повернешься к ней спиною,
зазеваешься —
навек.

У таежной глухомани
нрав и скорый и крутой.
Елки. Волки. Лес густой.
Нет оружия в кармане —
значит, зубы
приготовь.

И доколе сам съедобен —
думай,
стоит ли смотреть:
человеко ли подобен,
травояден ли медведь?

На веку своем немалом
попадешь и так не раз
в лапы лести и обмана
и в проем зловещих глаз.

Реют флаги над страною,
Не сдает позиций век...
Не шути
с тропой лесною,
милый
смелый
человек!

* * *

Лоснясь от антикомарина,
махрой под облаки дыша,
как ты черства непоправимо,
моя дремучая
душа.

Познав коварство и измену,
избыток впитанного зла,

ты продаешь за ту же цену,
по коей
и приобрела.

Ты стала алчнее и глуше
и осмотрительней в борьбе.
Но необстрелянные души
еще вверяются тебе.

А ты,
ища от них спасенья,
себя оправдываешь тем,
что посещают
угрызенья
твою полночную сутемь.

* * *

В горах,
за тридевять земель
от суеты досужих сплетен
усильем воли, а сумей
понять, что мир
великолепен.

Из глубины седой тайги
окинь потери и уроны
и вдруг поймешь:
твои враги,
как среди певчих птиц вороны,
всего лишь каверзы природы,
незлые выверты
судьбы.

А жизнь просторна и вольна.
И этот лес, и эти горы —

твоя любовь,
твоя страна,
и нет надежнее
опоры.

И новой песнею дыша,
чуть не усопшая до срока,
забьется грозно и широко
освобожденная
душа!

КОСТЕР

Осенней ночью, среди гор,
в испоконвечном шуме леса
одно свидетельство прогресса
и то прадедова:
костер.

Глазок огня издалека
увидишь — и похолодеешь,
оттаешь и помолодеешь,
и ощутишь наверняка,

что не один ты. Не один! —
под крышей гулкого пространства
носитель детства и седин,
неверности
и постоянства.

Что кто-то там еще, еще —
живой-таки! —
во мраке ночи
или рыдает горячо,
или безудержно
хохочет.

Он помощи твоей
не ждет.
Но надо ж было так случиться,
что вдруг ты вспомнил:
жизнь идет,
и это счастье —
длиться, длиться,
к стволу спиною прислониться
и плакать, Родину любя
за свет
в тебе
и вне тебя.

ПЕЙЗАЖ С КОБЫЛОЙ

Далеко ли до метели,
далеко ли до зимы?
Даже палки
облетели
здесь,
в верховьях Колымы.

И течет она,
тугая,
между небом и землей,
остывая,
затухая,
отрешенная такая,
обреченная такая,
на свидание
с зимой.

А октябрь на дворе
ясен — господи!
Не бывало в октябре
такой осени,

чтобы даль — чиста,
близь — оранжева,
чтобы музыкой
уста
завораживала!..

Но,
ансамбль нарушая,
гривой чалою маша,
в раму зрения
кобыла
входит серая,
как снег!

РАСТОРГУЕВ

Традиции старательской артели,
в веках вам уваженье и почет!
Любая здесь пылиночка при деле,
малейший болтик
взят на спецучет.

Так у иного плюшкина в колхозе,
хоть и не любит их у нас народ,
а он, глядишь,
пороется в навозе,
комбайн соорудит, а то и вовсе
невиданное что-то соберет.

Что ж, и моя душа протестовала,
не раз, не два споткнувшись тяжело
о брошенное в россыпях отвалов
бесхозное народное добро.

И тут уж прав он — Витька Расторгуев,
таежным перцем уснащавший речь:

— Вот мы у них движок-то
конфискуем,
а надо б их
к суду еще привлечь!..

Не слывший среди нас за словоблуда,
проевший зубы на семи ветрах,
уж он-то знал,
что нет добра без худа,
и вдоволь видел худа без добра.

Росла на Витьке жидкая щетина.
Был Витька тощ, морщинист, пучеглаз.
Ни дать ни взять,
природа подшутила,
сварганив это чудище для нас.

Ходил он прямо, словно запевала.
Неспешным шагом циркового льва
все камешки ощупывал сперва,
и гордо за отвалы
уплывала
его «под ноль»,
как булка,
голова.

Но у костра таежного за чаем
сидел, не замечая никого,
порою до того непроницаем,
как будто не от мира он сего.

В глухом лесу,
на нижней соцступеньке,
простейший из трудящихся людей,

он, может быть,
подсчитывал копейки,
которые слагают трудодень.

Он не был жмот. И глаз его воловий
печалился скорей всего о том,
что мог бы жить и прииск экономней
и меньше гнать
добра в металлолом.

Когда же возвращался Расторгуев
из дум своих к артельному костру —
дымящуюся,
горькую такую
в глазах его читали мы тоску.

Не личное стремление к блаженству,
не злые сожаления рвача,
а истинно:
тоску по совершенству,
которого он в жизни
не встречал.

Ах, что вы, что вы!
Витька мне не кореш
и для поэмы, знаю, не герой.
Но вот тоску, и боль его, и горечь
в самом себе я
чувствую порой.

И от нее
с трудом себя врачуя,
в статье, в стихе, в письме ли —
всякий раз
не скрою, что отчаянно хочу я,
чтобы она
и вам
передалась!

* * *

За деревьями леса не видишь!..

Не мешали бы деревья видеть лес,
совершил бы я отчаянный прогресс:
вдоль по жизни и по лесенке судьбы
уж тогда бы я продвинулся,
кабы...

Вот уж волосы устали опадать,
а конца и края лицам — не видать,
не сливаются в единое
и всё!
Что ни дерево — знакомое лицо,
дорогое до последнего сучка.
Как посмотришь на такое
свысока?

И пройдешь ли,
чтобы сердцем не задеть,
самого себя за ним
не разглядеть?

Жизнь уходит. Отойду, не отгорев,
заблудившийся в лесу среди дерев.
Корни голы. Ветки стынут на весу.
Сам я кустик
в человеческом
лесу.

* * *

Я задую в тайге небольшой костерок,
чтоб медведя и волка в пути остерег
от ружья моего. От объятий моих
чтобы загодя он отговаривал их.

Темнота у костра встанет плотной стеной
так, что можно в нее упереться спиной
и шептать до утра, до зари над рекой:
— Да святится Земля. Да святится Огонь.

Да святится огонь, согревающий нас!
Да святится огонь, пребывающий в нас!
Полагаю, что не было б в мире меня
без людского тепла
и земного огня...

* * *

Просыпаюсь, как ранняя птица,
песней утренней клюв полоща.
Удивленная речка искрится.
И разбуженный лес шевелится.
А твой шепот мне все еще снится,
словно льдом обжигая плеча.

Просветленной встряхну головою —
дескать, жизнь без тебя хороша!
А потом, в тишине шалаша,
буду слушать с надеждой и болью,
как, едва получившая волю,
о неволе
томится душа...

* * *

Трудиться ль устала природа,
терпенье ль ее истекло,
а лето минувшего года
так мало тепла принесло.

Но пуще отсутствия зноя,
нехватки земного огня,
молчание женщины злое
изматывало меня.

А сердцу не верилось в это,
и, словно заведено,
«Какое холодное лето!» —
упрямо твердило оно.

Лишь осенью поздней — уныло
одумалось, отлегло:
«Холодное лето, а — было,
и жаль,
что так рано
ушло...»

* * *

В разгар любой поры —
и стужи, и жары —
тут сладко не бывает:
не снег, так комары
до слез одолевают.

И потому — любой
сезон другого лучше...
Не так ли нам с тобой:
то злоба, то любовь
обуревают души?..

* * *

Мы с тобой живем, как на вокзале.
Судорожный, спешный неуют.

Все слова прощальные сказали,
а состава
всё не подают.

И не прекращается кружение
дней и дел. Зима глядит в окно.
Сверстники уехали давно.
Но не возрастает напряжение,
а и не снимается
оно.

* * *

Милая меня не понимает.
Что ни строю — все она ломает.
Замок ли воздушный возведу,
сказку ли придумаю из света —
все она разрушит,
на ходу
бросив лишь:
«Да глупости все это!..»

Горечью не полнится душа,
я уже привык и не перечу.
Что построю за ночь, чуть дыша,
то наутро вынесу навстречу:
— Рушь, моя любимая,
круши!..

Но она и рушит
без души.

* * *

Ты вольна. А мир — широк.
Так о чем же плачешь впрок?

Рвать сорочку на груди
будет время, погоди.

Срок настанет нареветься
и по случаю, и всласть,
как твое утратит сердце
над моим былую власть.

И поплачешь. И забудешь.
И вздохнешь: «Не клином свет...»
Ты меня — уже! — не любишь,
лишь сознаться духу нет.

Не раздета, не разута,
превосходен аппетит...
Улетела бы,
да жутко:
самолюбие рассудка
крылья воли
тяготит.

* * *

В таежном зимовье,
в глухой стороне,
на руки голову положив,
я плачу от радости. Горько мне,
а значит, я снова жив.

И, стало быть, стихнул девятый вал
любви. И в который раз
я снова, ребята, все потерял,
кроме себя и вас.

А что еще надо сыну земли,
ребенку людских пучин?

Только б дороги его
вели
мимо теряющихся вдали
надуманных величин.

Только б смеялся и пел в груди,
от счастья едва живой,
свет его ключевой звезды —
свет
звезды
кочевой.

* * *

Не уснуть. Лишь глаза прикрываю —
ты встаешь в изголовье. Грустна.
По себе, обо мне ли? Не знаю.
Третий год я тебя называю
отстраненно-безличным — «она».

Пар стоит над подушкой горячей.
Но занятия зряшнее нет
даже ластиком в памяти зрячей
истирать неотступный портрет.

Не пытаюсь изгнать из видений.
Знать, до самого смертного дня
будет гневный твой сумрачный гений
то будить, то баюкать меня.

* * *

Что-то с тобой случилось,
то ли со мной стряслось:
с телом душа разлучилась —
просвечиваю
насквозь.

Взглядом окаменелым
смотришь поверх огня,
словно на свете белом
вовсе и нет меня.

И упрекнуть не вправе.
Скрою ли, утаю,
что пусто в моей оправе,
что где-то
на переправе
украли любовь мою?

Истаяла ветром в поле,
а вскоре простыл и след.
И вот уже нету боли.
Но и свободы
нет.

* * *

Когда б тревога улеглась
и мертвый час настал
в душе моей —
кому во власть
ее бы я отдал?

На разграбление. Разбой...
Ах, чья бы ни взяла!
Но жить в себе
сама собой
она бы не смогла.

Душа моя,
осенний лист,
на всех ветрах дрожа,
оставь смятение, дождись
последнего дождя,

все беды мира искупя
одною смертью враз,
лети,
лети,
пока тебя
не втаптывают
в грязь!

* * *

Вот и вспыхнули в далях березы.
День-другой,
и ночные морозы
зелень хвойную ошелушат,
и предстанет растерянным взорам
бывший лес — редколесьем,
в котором
слышен каждый твой шорох и шаг.

Не дыши,
если видишь впервые
черных лиственниц свечи прямые,
неба льдистого синюю пыль.
Наклонись,
собери под ногою
еле теплую рыжую хвою —
эти иглы,
они не твои ль?

Всех нас ждет
неминучая участь:
облетит золотая колючесть,
ясность мыслей проступит в тиши,—
и, повергнув нас в пору иную,
время высветит суть ледяную —
гордый ствол
неприкрытой
души.

* * *

Шквальный ветер. Мокрый снег. Ни фонаря.
Провожаем ночь на третье сентября.
Нету плана. Завалили годовой.
Ну а главное — зима над головой.

Налетела, навалилась, налегла,
планы спутала, надежды замела.
И пишу я. И качаю головой
над блокнотом в снеговерти круговой.

Я пишу, а буквы плачут — снег идет.
Буквы плачут. Снег валит. А я пишу.
Отвалюсь спиной к лесине, долго на руки дышу
и гляжу, как пар сквозь пальцы улетает в небосвод.

Точно так, поди, и время — день за днем, из года в год
между пальцев человеческих течет себе, течет,
не догонишь, не воротишь и не стиснешь в кулаке —
оно пляшет и смеется, словно пламя в костерке.

Оно пляшет и сгорает. В мире так заведено:
время памяти не знает — мимолетное оно.
Человек же, хоть не вечен и размерами смешон,—
даром памяти увенчан, с ее далью обручен.

Догорает костерок мой.
Двадцать лет и двадцать зим.
И я думаю с унынием: «Увы,
не согреть мне эту землю
ни дыханием своим,
ни словами
человеческой
любви...»

ЖИЗНЬ. ТАЙГА. ТОСКА. ДОСАДА...

Жили строго, небогато
на события. Зато
мыли золото,
и плата
причиталась нам за то

то морозцем, то пургою,
то урезанным пайком,
то поломкою какою,
ну а чаще —
матюком.

Приисковое начальство
(что ни прыщ, а тож — глава!),
наезжая к нам не часто,
не скупилось на слова.

Но чего там? —
жизнью биты,
терты, мяты — ай-люли! —
на словесные кульбиты
не копили мы обиды,
в душах зла
не берегли.

Но и злостному фразеру
не заглядывали в рот.
В части должного отпору
получал он тут же
фору
этажей на семь вперед.

Словом,
в меру простоваты,

а и дошлые подчас,
грамотешкой не кичась,
все, чем были мы богаты,
полагаю, было
в нас.

Жили ветрено, сурово,
не ища судьбы иной:
день до вечера и снова
день до вечера,
и вновь

окаянная работа,
нескончанные дела.
Это лишь в стихах поэта
встретишь «сладкий запах пота»,
в нас же «сладость» эта что-то
радость вызвать не могла.

Не звала и к состраданью.
Жизнь как жизнь
и труд как труд.
Строг таежный институт:
кто пришел не по призванью,
сам поймет, что к проживанью
он, увы,
не годен тут.

И ни злости, ни обиды.
Брак без молний и громов.
Не по сердцу наши виды —
на отъезд не надо визы,—
прощевай
и будь здоров.

Пятерню протянешь — тиснем,
вздох — разделим пополам,

дёру дашь —
и вслед не свистнем,
потому как нашим мыслям
печься впору лишь о высшем,
наивысшем слове:
п л а н!

Ох ты, вкрадчивое слово
с буквой «л» у позвонка!
В нем и кротость рыболова
перед ленью поплавка,
и тревога рыбака,
пред угрозою пролова
беззащитного пока.

В нем приказ и убежденье,
и предвиденье, и дым,
беды, радости и бденья,
и победы, и паденья
и звена, и учрежденья,
безраздельно
слитых с ним.

Слово ладное, скупое,
хоть гляди его на свет:
лишней букве
места нет.

«Нужен план!» — звучит порою,
как в бою команда: «К бою!»
И уж тут, готов иль нет,—
всякий бред — себе во вред.
Поворачивайся к строю,
чтоб он выдохнул с тобою:
— Будет план! —
один ответ.

Ну а там —
хоть с неба камни.
Слово дал — держи его! —
головой, спиной, руками,
мощью ль духа самого,
слитной силой коллектива,
персональной ли кишкой,
хороша ли перспектива
или нету никакой,—

изворачивайся, думай,
бей во все колокола.
Бойся только,
чтобы дутой
цифра плана не была.

Золотой песок — не гравий,
тут за все один ответ:
грамм исчезнет в килограмме —
лагеря не за горами,—
вот тебе и
...надцать лет!

— А случалось ли?
— А как же!
Очень даже сколько хошь.
Были кражи. И пропажи.
И того, пожалуй, гаже.
Мир людей,
он чем хорош?

Что ни личность — то загадка,
что ни рожа — свой покрой.
Два ума — уже и схватка,
две натуры —
смертный бой.

А в дремучем коллективе
на три дюжины персон
жалкий клоп и тот в активе,
мал-то мал,
да жалит он.

И ворочается масса
от укусов и обид,
каждый — личность,
каждый — маска,
идиот — а индивид.

Но и хват,
и сын раззявин
чтят, затертое до дыр:
«Жизнь — тайга,
медведь — хозяин
и Медведев — бригадир!»

Жизнь — тайга
сама собою,
а в тайге — вдвойне тайга.
Ты к ней с болью и с любовью,
а она все сучья к бою
изготовила. Строга,

и не с виду, а по сути,
не в ветвях, а до корней.
Кто хлебнул таежной жути —
уважительнее к ней.

Кто прошел тайгу навылет
или прожил в ней хоть год,
из нее подранком выйдет,
но опять в нее пойдет.

Где закон?
А нет закона.
Есть душевная струна.
Не до звона, а до стона
перетянута она.

В баньке русской не отпарить,
водкой злостной не залить.
Неуступчивая память
будет радовать
и злить,

насмехаться и тревожить,
и отпугивать — а звать.
Одного она не может:
на полатях почивать.

Не один таежник старый,
распрощавшийся с тайгой,
под гитару, без гитары
исходил по ней тоской —

не наигранно-ребячьей,
патетически-слюнной,
а тоской могучей,
зрячей,
убеленной сединой.

Почему? А сам не знаю.
Отчего? А не скажу.—
то слезу по ней роняю,
то с ума по ней
схожу,

и, не склонен к сантиментам,
сам досадую подчас,

что одно признанье в этом
общим как бы
стало местом,
красной фразой
напоказ...

* * *

Прощание
неотдалимо.
Сужается
окоем.
Дозрев, пламенеет малина
на склонах
в распадке моем,

где сам я когда-то —
колючий
владетель восторженных крыл —
свой первый старательский ключик
для рук неуемных
открыл.

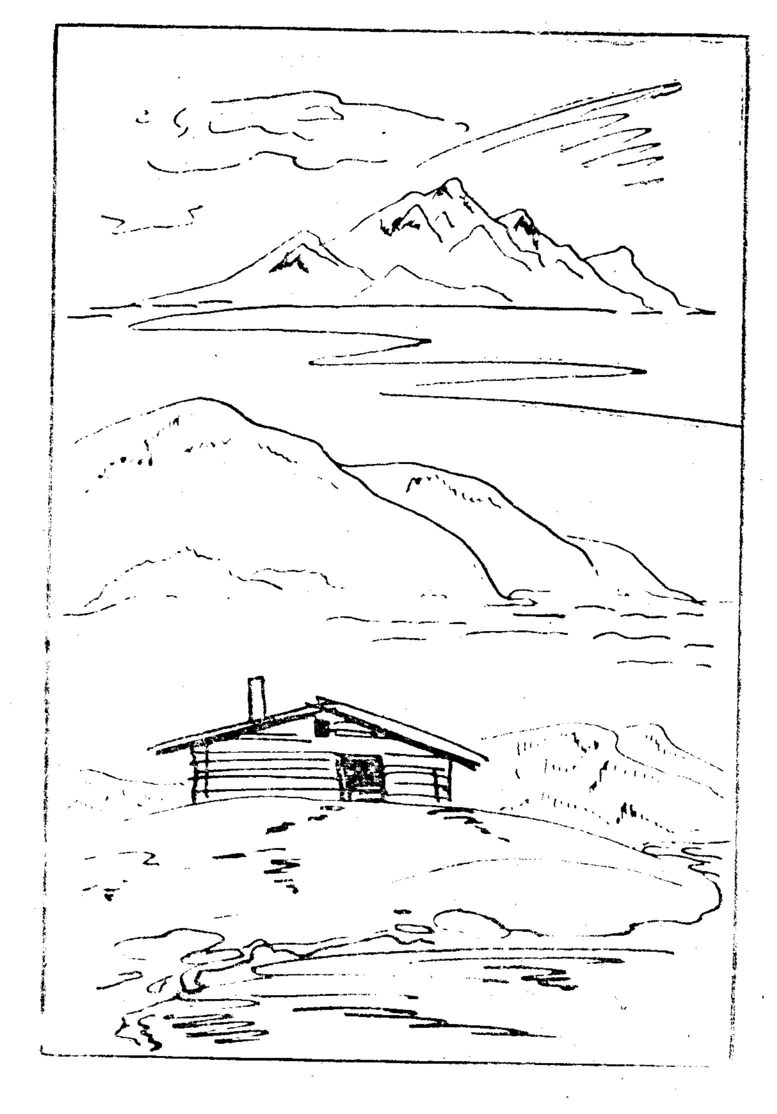
Аукнулась,
но не вернулась,
лишь пламенем память ожгла
уже невозвратная юность.
Спасибо, сестра,
что была,

что за руку властно водила,
владела душой и умом,
пока удивленье и диво
во мне не окрепли
самом.

Обветрилась
и обгорела
душа от бессчетных потерь,
но что в ней еще не дозрело,
само уж дозреет
теперь.

Говорил тебе:
«Не трожь,
боль посеешь —
крик пожнешь!..»

Неразрывная память



ПЕСЕНКА

Пожил чудак на острове,
промерил все моря,
а что привез? —
Да нос в крови,
по правде говоря.
Куда ходил, кого искал
и что в пути нашел,
отрекся ли от поиска,
надолго ли
пришел?

Истерший ноги до крови,
избивший руки в кровь,
искал он,
люди добрые,
великую любовь.
А не найдя великую,
отринув мишуру,
с повинною
улыбкою
вернулся ко двору.

И вот стоит растерянно,
кривит в усмешке рот,
поглаживает
дерево
отеческих ворот
и видит, как состарилось,
полынью поросло

по самые
по ставеньки
былинное село.

Знать, весело проехали
неведомо куда
над крышами и стрехами
буранные года.
Ушли и не воротятся,
как вольная река...
Колотится,
колотится
сердечко
чудака.

АВТОБУС

...Жми, автобус. Быстрее. Умница!
Чтобы ветер в ушах — жарь!
Я сойду на знакомой улице,
понимаешь меня?
А жаль.

Я сойду на знакомой улице,
где меня каждый камень ждет.
Ржавый аист над старой кузницей
неожиданно оживет.
Будет он трепыхаться истово,
жестяную судьбу кляня,
и заискивающе посвистывать
оттого, что узнал меня.

Жми, автобус. Быстрее. Шире шаг!
Не дорога, а пулемет!
У калитки старуха Жириха

тихо ойкнет
и обомрет.

Вздрогнет голос ее: «Ой, бабоньки,
это ж Пчелкиной Дуськи сын!..»
На заборах горшки да баночки.
Во дворах доходные псы.
На углу,
у ларька зеленого,
пиво пьют, матерясь с тоски,
пропотевшие,
просоленные,
прокопченные мужики.
Подойду к ним и поздороваюсь,
лица памятные ища.
Только что им до постороннего
отутюженного
хлыща?
Отвернутся,
сквозь зубы сплевывая,
лишь хромой Пантелей Бузин
подойдет,
протянет рублевую:
— На двоих, что ль, сообразим?..
В воспаленных глазах — окалина.
Провожает меня матюком...

Ах, Иван Степаныч Подкаменный,
что же делает
твой местком?
Люди падают. Люди падают.
Люди падают, черт возьми!

Но ответит Иван Степанович:
— Ты действительность
не черни.
Ишь, увидел пяток бездельников

и пошел чесать языком...—
Так легко прослыть
безыдейным
с этим ушленьким
стариком.

Жми, автобус. Давай. Чего уж там!
Наше с ним еще — впереди.
Вишь, дорога-то
ровно чертушка —
опрокинет, того гляди.
Нам по ней
хоть пешком, хоть волоком,
хоть под солнцем,
хоть под огнем.
Пусть Подкаменный смотрит волком,
мы его еще
подогнем.

Все случайное — перенулится,
перемелется в прах и в пух!..

Я сойду на знакомой улице.
Ух-х!!!

1963

ФУРАЖКА ДЕДА

Я постигаю таинства простые
несложной жизни. Тихой. Нетревожной.
Встаю с рассветом. Шумно умываюсь,
махровым утираюсь полотенцем,
а дед мне говорит,
что «городским».
Он тоже поднимается на зорьке,

садится на завалинку и долго,
упорно ждет, пока поспеет чай.

У дедушки морщины, что овраги.
Седые брови. Борода седая.
И черная
высокая фуражка
на голове серебряной его.

Люблю я деда. Не люблю фуражку
с ее назойливым, невозмутимым сходством
с чем-то тяжелым и непоправимым.
А с чем — не знаю. Да, не знаю:
с кем?!

А дед неспешно задает вопросы:
«Ну что, Москва —
поболе будет, нежли
Донбасс, к примеру,
Свердловка, Луганск?..»

Я полотенце вешаю на шею,
сажусь к столу и чаю наливаю
в высокое каемчатое блюдце,
наколотое с краю. Чай парит.
А дед опять:
«И что б твоей Сибири
поближе быть! Тогда бы я пешочком
пришел к тебе и приготовил чаю
да блинчиков горяченьких испек.
А это что ж? Ить даль, гляди, какая.
И снег, поди.
В сугробах заблужусь...»

У дедушки морщины — что овраги.
Седые брови. Борода седая.
И грустные глубокие смешинки
в лукавых угасающих глазах.

А чай остыл.
Я молча поднимаюсь,
закуриваю и иду к калитке,
а дед мне в спину грустно говорит:
«Что ж чай не пьешь?
Ай не привык в Сибири?
И как вы там — в Сибири и без чая?
А я без чая дня не проживу...»

Рассвет оранжев.
Лают паровозы
на станции. А там, из-за посадки,
выкатывают огненное солнце
чумазые донецкие копры.
И все мне интересно в этом мире:
как зреют вишни, как цветет подсолнух,
как стол в саду стоит на трех ногах,
как утро пахнет.
Яблоками, серой,
которая горит на терриконах
и о которой дед мой говорит:

«Ажной всю жизнь. И нет ей укороту
и пропасти на нее нету. Тьфу!
Бывалыча, деревня как деревня —
Гармошка. Девки. Яблоками пахнет
и сеном аржаным на сеновале,
и над селом
такая тишина!..»

Я тоже тишину люблю.
Мой домик
стоит всего в семи шагах от моря,
и всякий раз, когда ложится вечер
на плечи горизонта, плечи улиц,
я забываю обо всем на свете
и на берег с тетрадкой выхожу.

Вы видели когда-нибудь ночное
спокойное, размеренное море,
беременное рифмами и снами
и таинствами белого стиха?

Ночное море!
Как живое тело
оно лежит у ног моих. И дышит
тяжелыми, упругими боками
и мирно пережевывает гравий
на диком каменистом берегу.

Ночное море.
В сумерки уходит
последний катер пассажирский. Звезды
все ярче разгораются. Мигают.
И падают на землю по наклонной,
как факелы. И вспыхивают разом
на берегу рыбацкие костры...

...Рассвет оранжев.
Дед уходит молча,
прихрамывая, медленно ступая.
Весь сгорбленный.
И весь в невозмутимой
фуражке довоенного покроя.
И сердцем я улавливаю вздох:

«Эх, будь жива твоя родная бабка —
не заскучал бы зря. На посиделках,
бывало, так рассказывать умела.
И пела. И плясала. Да куда там! —
Поди, жила б,
кабы не Соловки...»

1963

СЕНТЯБРЬ

1

Проснись со мною на заре.
Проснись и затаи дыханье,
и слушай лета затуханье
в сгоревшем пне, в замшелом камне,
В такую пору — в сентябре —
природа говорит стихами.

О, как чисты ее уста
и как звучанье в них бездонно —
от придыхания до стона!..
Сравненья лучшего достойна,
ступает медленно с холста,
как Рафаэлева Мадонна,

заря — ты чувствуешь? — заря!
Иди ж по скошенному лугу,
отдайся зрению и слуху...
. . . .
Я на излете сентября
лечу
    разлуку.

2

Гуси. Гуси летят. Улетают.
В чьи-то мысли влетают и тают,
как снежинки текут по стеклу.

А сентябрь колесит по селу,
на лету поджигает осины
и стучит листопадом по рамам...

Это ты или клекот гусиный —
телеграфом по огненным ранам?

О, как больно твоим телеграммам!
Тем не менее — слышишь? — гуси.
Тем не менее — видишь? — осень

по сердцам, областям и странам
куролесит, срывая крыши,
без особых на то усилий...

Не пиши мне. Пожалуйста. Тише!
Слышишь — клекот гусиный.

3

Не грусти. Ниспаданье листа
обещает симфонию всплеска.
Слышишь — горечь спадает с лица
упоенного осенью леса.

И всю ночь меж деревьев его
на струнах обнажившихся веток
воспевает свое естество
подгулявший на радостях ветер.

Не грусти. В этой осени — я.
В этой осени, в этом круженье
обнаженная сущность моя
в музыкальном ее
выраженье...

4

День догорал на крыльях ив,
и в их багровом опоренье

шуршал и пенился прилив
карандаша и акварели.

А было это неспроста.
День догорал, но не был дожит,
и откровение холста
еще в себе таил художник.

Всем телом трепетно дыша,
лишь он улавливал рожденье
и тайный гул произведенья
в сердечнике
карандаша.

А день спокойно догорал.
И ивы медленно летели,
как будто всполохи костра,
как ленты
огненной
метели.

5

В сентябре на заре —
тишина, тишина.
Луговая трава в серебре,
мурава в серебре,
у отца моего
голова в серебре,
лишь моя голова серебра лишена
до поры.
А пока —
тишина, тишина.
Лишь она
да щемящее пенье косы,
да от соли звенящая майка отца:

«Отстаешь, сынок,
веселей коси,
на деревне, чать, вырос,
кажется!»

Ты прости мне слабость мою, отец.
Не скрываю —
ладони мои горят.
Щеки жаром горят,
словно девки корят,—
да не вышел из сына лихой косец.
Не помощник по дому я твоему,
просто дань любви
отдаю ему.
Белый снег,
белый ветер
и белая грусть
отбелили загар на ветвях моих рук.

Но за далью,
где чуть ли не света конец,
где родится грядущее наше в борьбе,
может быть,
я чего-нибудь стою, отец,
хоть наверно не вышел
в косьбе...

* * *

В утлом доме — тишина.
Дверь не хлопнет.
Пол не скрипнет.
На старуху дед не крикнет —
ох и старая она!

Тишина как тишина.
В окна улица видна.
Ноздреватый лед в кювете.
Снег в тележной колее.
Чуть колышет свежий ветер
мокрый флаг на сельсовете
да белье на верее.

Мир исполнен доброты.
Окна мытые — чисты.
Небо сине, будто речка.
Обнаженный, черен лес.
И ни звука,
                    ни словечка,
человечка нет окрест...

* * *

Гостеприимен дом — спасибо чаю.
А холоден — так грош цена вину.
Но в том, что я отчаянно скучаю,
я никого сегодня не виню.

Усатый чай над чашками дымится,
веранда сходит в росную траву.
Я восемь лет на Севере живу,
а здесь все те же улица и лица.

И тот же чай. Вишневое варенье.
Знакомые деревья у шоссе.
И прежние сквозные акварели
в безмолвно остывающей росе.

По родине ну где не заскучаешь?
Но, воротясь к ней, в тишине берез
все что-то подмечаешь, отмечаешь,
да так, что душу за душу берет!

И хочется хоть в чем-то усомниться,
непонятым оставить до конца.
Но чай себе дымится и дымится
и древний пес зевает у крыльца.

1966

* * *

А только станет вечереть,
при тусклом деревенском свете
в дом собираются соседи,
чтобы на гостя посмотреть.

И лущат семечки. И ждут
моих рассказов небывалых
о приисках, лесоповалах,
о ценах в нынешнем году
на промтовары
и еду.

Ах, все им ведомо давно!
(Газеты, радио, кино...)
Но про Чукотку и столицу,
как своему
и очевидцу,
мне больше верят
все равно.

И я рассказываю всласть,
а самого приятца гложет,
что нету надобности
врать, да и прикидываться
тоже.

Я все прошел
и вдалеке

был их кровиночкой,
а значит...
...И кум растроганно заплачет
на украинском
языке.

1968

ПЕНАТЫ

Как удушливо в этом краю.
Понимаю: горят терриконы.
Паутина в дому, тараканы.
По соседству живут уркаганы.
Отвернусь
и спиною ловлю,
как два кукиша спрятав в карманы,
кореш целится в душу мою.
Узнаю тебя, жизнь. Узнаю.

Как возвышенно в этом краю!
Пахнут яблони, астры, фиалки.
Поезда отдаленные гулки.
Разве стон их достоин охулки?
Что же я,
не в пример соловью,
о родимом своем переулке
столь нелестную песню пою?
Узнаю ли себя? Узнаю.

Как обыденно в этом краю.
Летний зной иссушил огороды.
Вдоль садов покосились ограды
и глядят
в ожидании правды,
за печатями скрытой семью,
на судеб мировых эскапады

и недвижную
долю
свою.

* * *

На излете ли, в зените,
где б ни выпал мой черед,
вы уж маму сохраните,
а отец... отец поймет.

И не то чтоб он суровей
иль не родственных кровей.
На его законной крови
двое вышло сыновей.

Перед миром, перед людом
светом собственных седин
и любить его мы любим,
и в обиду — не дадим.

Но уж если дело примет
неизбежный оборот —
вы скажите. Он не вскрикнет.
Не заплачет. Не запьет.

Сын простой земной науки —
русской каши с молоком —
знал телесные он муки
и с душевными знаком.

Да не проклял край свой отчий,
где на нем, что было сил,
век жестокий, век рабочий
воду бочками возил.

У сынов его закалка,
от трудов не прячем плеч.
Кликнет Родина — не жалко
за нее и в землю лечь,

лечь за брата, лечь за друга:
жизнь одна — и честь одна,—
только б верить, что она
не во имя пустозвука,
оказалось, отдана.

Но, какая б ни причина,
сообщите всё — ему.
Батя, все-таки, мужчина.
Знает батя
что к чему.

О, ДОГМЫ ДЕТСТВА МОЕГО

Бывало больно,
хоть реви,
что в жизни мне гордиться нечем,
что в родовой моей крови
никто геройством не отмечен,

что оба деда — кулаки,
отец безграмотен, а мама
прошла девчонкой Соловки
и после долго кулачки
по этой памяти сжимала.

Когда ж отец ушел на фронт,
он с тыловой своею частью
(и вновь к сыновнему несчастью!)
попал в слепой
бедоворот.

Он был в плену.
Но тем, что выжил,—
и окрылив, он обездвижил
под сердцем сына долгий стон.

И этот стон от всех скрывая,
тебя я рвал, душа живая,
но глубже в плоть
вгрызался он.

А бате было
тридцать восемь.
А сын упрям. И что ни день —
с войны вернувшийся ремень
колесовал, чересполосил
мой худобедренный
«пельмень».

За двойку по литературе,
за дурь молчанья, за ответ,
за то, что вредным по натуре
явился я
на этот свет.

Он повторял: «Учись добру.
Не будешь — уши надеру!..»

А я б ему не то что уши —
без слова голову б отдал,
чтоб только меченую душу
огонь тщеславья
не снедал...

И вырос я.
И в жизнь умчался.

Скучал отец. А я стучался
в леса и воды, в стены скал,
в сердец людских свиное сало.
И растерял уже не мало.
Но я не подвига искал —
душа прощения искала
и очищенья.
От чего?..
О, догмы
детства моего!

РИСУНОК ПО ПАМЯТИ

Сын бабушку рисует —
красивой, молодой,
с веселыми глазами
и толстою косой.

И охаю я: «Боже!»
И в толк я не возьму:
похоже-то похоже,
а все же,
почему?

Откуда знать ребенку
в его пять лет,
какой
была моя мама
красивой молодой?

Нет в доме фотографий
тех предвоенных лет.
И нет косы у мамы,
красы простыл и след.

Гремучими слезами
до дна обожжены
глаза ее
за годы
и мира, и войны.

Вся жизнь ее —
мучеба
сложнейшей из наук:
чтоб выжил я
и чтобы
явился миру внук

и, на руку беспечно
щекою опершись,
открыл, как жизнь
невечна,
как бесконечна
жизнь!

...Сын бабушку рисует
по памяти моей.
Возьмем его рисунок,
в письме отправим ей.

Но мама удивится
и спросит нас она:
«А что за царь-девица
там изображена?

Красива да пригожа —
чай, век жила в раю?
А все же
так похожа
на маму
на мою!..»

МАМИНО ЗРЕНИЕ

Стареет мама. Нет ее вины,
что тают силы и слабеет зренье.
Вольна душа, да руки не вольны,
душевного не прибывает рвенья.

«Такое время,— говорит,— сынок.
Ведь что ни царь — семь пятниц на неделе,
а что ни вождь — наглядный всем урок.
Вот мы свои глаза
и проглядели...»

Что мудрость ей
в оплату страшных лет,
в перерасчет за боли и утраты?
У времени обратной силы нет,
ну, а страна...
Была ли к ней добра ты?

Когда она бежала с Соловков
и корками арбузными питалась —
кричала жуть со дна ее зрачков.
Тень жути той
в них по сей день осталась.

Когда красноармейские войска
ее — с детьми! — оставили под немцем,
ты думала ль, как участь их горька?
Ведь страшно. И обида велика.
И нет заступы. И кормиться нечем.

А чю послепобедное житье? —
шитье сплошное при лампадном свете.
Всего и свету в жизни у нее:
вернулся муж,
остались живы дети.

Мы именитых ищем ей врачей.
Но имена суть дела не меняют,
когда в глазах
так много сволочей
стоят, стоят.
Свет белый заслоняют.

МОСТ

В черном небе среди звезд
протекал ажурный мост.
Простенький. Без притязаний.
Пригородно-привокзальный.
Станция была живая —
малая, но узловая.

Удивительно! Тесна,
мне запомнилась она
ощущением простора
между звезд и фонарей,
тишиною в море ора
паровозов и людей.

Ничего не сочиняю.
Вдумываюсь. Вспоминаю...
Ночь. Движение. Покой.
Звезд мерцающие грозди.
Первый раз я еду в гости
на деревню — в мир другой.

Мама в кассе. Я продрог.
На мешке ее огромном
в уголке сижу укромном,
потрясенно одинок,

и гляжу
на ручеек
между небом
и перроном.

ПОКОЛЕНИЯ

В столичном чинном ресторане
средь госпитальной белизны
пьют за Победу ветераны
ушедшей в прошлое
войны.

И с шумной радостью пьянея,
живые
открывают вновь,
что не становится слабее
ни водка русская,
ни кровь,

ни дружба, ею политая,
ни даже память,
хоть года
летят, с лица земли сметая
всех без разбору. И сюда,

где не слышны аплодисменты
и эхо выспренних речей,
их собирается все меньше.
Все меньше их.
Но тем звончей,

переворачивая душу
невозмутимой тишины,
они поют свою «Катюшу»
за всех,

с кем вынесли и стужу,
и пламя смертное войны.

А я их слушаю и плачу.
И счастлив я,
что в этот миг
волненья чистого не прячу
от однокашников
своих.

Но парни,
глаз поднять не смея
от полноты высоких чувств,
уже сдвигаются плотнее
плечом к плечу,
плечом к плечу.

НЕРАЗРЫВНАЯ ПАМЯТЬ

Все кажется:
уже я воевал.
И был убит однажды наповал.
Но возвратился снова в строй живых,
чтоб вера в жизнь
не покидала их.

И рядом с ними вновь я воевал.
Я жил, чтоб друг,
сраженный наповал,
спокоен был:
и без него в бою
не посрамим мы Родину свою.

Живым зарыт и заживо сожжен,
из праха встал
уже не я, а он —

мой друг, солдат, погибший в той войне,—
чтоб так же вечно
помнить
обо мне.

ТРЕВОГА

Учебные сборы.
Тревога!
В минуту обут и одет.
Спешу и волнуюсь немного,
но полной серьезности
нет.

И знаю,
что это не шутка,
что вызов, быть может, всерьез.
А все же, глядите,
не жутко.
Жена провожает без слез.

Рука ее тянется к спицам,
но, якобы увлечена,
с улыбкою
и любопытством
следит за супругом она.

— Ни пуха! — кивает мне.
— К черту!.. —
И, лишь погружаясь во тьму,
подумаю мельком:
«А ну
вот так вот — уйдешь на учебу,
а выйдет,
что шел
на войну...»

ИНСТРУМЕНТАЛЬЩИК

Поэма

1

Зубило, напильник,
пробой, вороток,
да плашка, да метчик,
да друг-молоток —
вот весь инструмент мой
на первых порах.
Я только неделю
хожу в слесарях.
Еще с меня,
в общем-то,
спрос невелик.
Но токарь меня
окликает:
«Старик!»
«Покурим, старик!»,
«Отдохнем, старичок!»
Он буквы глотает,
выходит —
«стручок»,
но я все равно
благодарен ему.
Мы с токарем сверстники
и потому
в обед — покупаем
обед на двоих,
с работы идем
на своих на двоих

и только на танцах
мы в клубе
втроем.
А впрочем, и здесь
мы, пожалуй, вдвоем.
Хоть Верка за нами
и закреплена,
но вечно с другими
танцует она,
а мы лишь вздыхаем
да случая ждем
ее проводить
и остаться
вдвоем.
Конечно,
не с другом остаться,
а с ней!
Но тут она снова
двоих нас умней:
она исчезает
в провале двора
вчера и сегодня —
как позавчера.
«Привет, кавалеры!» —
смеется с крыльца,
и оба мы с другом
линяем с лица.
А утром над нами
хохочет мехцех:
«Ну что,
старички,
подженились?!»
И смех
«хо-хо» да «ха-ха»
из пролета в пролет
за нами вослед,

как на смену,
идет.

2

Зубило, напильник,
пробой, вороток,
да плашка, да метчик,
да вот — молоток,—
пока инструмент мой,
пожалуй, и весь.
Но я уже месяц
работаю здесь.
Мне фланцы уже
доверяют сверлить,
болты нарезать,
электроды рубить.
Я в кузнице
сам
за кувалду берусь,
и старый кузнец
ободряет:
«Не трусь!»
Смеется:
«С большого
начнешь молотка —
большим человеком
и станешь.
Ага!
Бей здесь.
Веселее.
Вразмашку.
Смелей...»
И не было сердцу
и слуху милей,
чем гул наковальни

и звон молотка
да вздохи поковки —
поковки пока! —
что миг —
и синеет уже пред тобой
подковой ли,
штангой,
кронштейном,
скобой
иль полозом санным
с таким завитком,
что к горлу и вправду
подкатится ком,
в котором и счастье,
и гордость твоя:
«Да это же я отковал его.
Я!»
И сердце воробышком
скачет в груди:
«Кузнец-то,
кузнец-то
доволен,
гляди!»
А мастера фраза —
как пива глоток:
«Да ты, брат,
и впрямь ничего.
Молоток!»

3

Ах, в жизни моей
мне не раз и не два
припомнятся
странные эти слова.
Когда рыбинспекторский

катер «КЖ»,
заглохнув,
к воде
станет лагом уже,
и струсит механик,
и спрыгнет матрос
у банки Меечкын
в кипящую муть,
и, перехватив
капитана вопрос,
еще я успею
в машину нырнуть —
взглянуть ли,
потрогать,
чутьем угадать,
в каком проводке
она сдохла —
искра́,
и дизель чихнет,
и настанет пора
в кромешной ночи
матросенка искать,
и чудом ли,
счастьем,
звериной тоской,
последнею волей
истерзанных душ
его мы достанем
из пены морской,
от ванны холодной
терявшего уж
остатки сознанья,
и сутки пройдут
как час
или десять
кошмарных минут,

пока мы достигнем
реки Васватап
и в бухте осохнем,
и выбросим трап,—
уже в кукуле,
допивая чаек,
подумаю,
вспомню ль:
«А ты —
молоток!»

4

А что молоток?
Не лови на строке.
Большой инструмент он
в искусной руке.
А думаешь,
ты
в настоящий момент
в руках современности
не инструмент?
Пусть ты — музыкальный,
слесарный — другой.
Реальности важно
иметь под рукой
тебя и меня,
и любого из нас,
чтоб жизненный круг
в неозначенный час
на хладные звенья
распасться не мог...
Вот ты превозносишь
свой личный мирок,
и знаешь,
да знать не желаешь

о том,
что он —
лишь отдельный на улице
дом,
лишь улица он
в небольшом городке.
Иными словами,
он —
слово в строке,
в которую впаян,
вмонтирован,
вбит,
чтоб общему смыслу
законченный вид
придать,
но при этом
окрасить его
всей радугой чувств
существа
твоего,
созвучного, впрочем,
опять же
ему —
всеобщему смыслу!
Точнее,
тому,
кто волен тебя
в эту строчку
впаять,
но с тем же успехом
и вынуть,
изъять,
едва ощутив,
что звучанье твое
излишне крикливо,
мертво ль для нее.

Да, я допускаю,
что ты — индивид
и то,
что мое рассужденье
таит
опасность в себе
стать оружием зла
в руках подмастерья,
раба ремесла,
иль хуже того —
старшины
мастеров.
Но лучше уж мы
обойдем этот ров
меж школою жизни
и школой искусств.
Он есть.
Он извечен.
Он страшен и пуст,
но пропасти этой
хмельные пары
оставим
старшинам вдыхать.
До поры.

5

Уж эти старшины!
Занятный народ.
Не лес,
но деревья особых пород.
Отборный,
опорный отряд трудовой:
не класс,
не прослойка в народе,
но — слой

заметный, хоть внешне
и неощутим.
Раздробленность вотчин
довлеет над ним.
А логика,
психика,
сумма задач
так сходны,
что классу иному
хоть плачь
под ласковым гнетом
отдельных старшин.
Они и не против
достигнуть вершин,
но для обозренья
окрестных высот
считают:
довольно
и средних высот.

В пылу откровенья
один старшина
хлестался:
«Высотка моя
не видна,
но кое-кому
по прямому пути
без пошлины мимо нее
не пройти.
Не веришь? Попробуй!
А двинешь в обход —
другая высотка
возьмет в оборот,
да так оберет,
что закаплет
с крыльца!..»

И он улыбнулся
ухмылкой
скопца.

6

Не верить?
С чего бы!
Ведь сам я в мехцех
был принят по блату
таким вот —
из тех,
кто роль благодетелей
средней руки
играют
за скромные медяки,
но — кровные все же
для тех,
в чей карман
они попадали с трудом.
А обман,
приписки, подлог,
сватовство, кумовство,
еще и скрывая свое существо,
глумились уже
над копейками тех,
что честно работал...
По счастью, мехцех
не ведал, что я
оказался средь них,
минуя графу в трудовой:
«ученик»,
что только механика
барственный взгляд
мне сразу присвоил

четвертый разряд.
Да то хорошо,
что и сам я не знал —
как принят,
кем вписан
и что записал
в мою трудовую
механик Н. К.
Я вправду был рад
холодку молотка
и весу его
в неокрепшей руке,
покамест
однажды
накоротке
не бросил мне токарь:
«Послушай, старик,
по срокам ты вроде
у нас ученик,
да что-то
в расчетной твоей
«пятаков»
поболее, чем
у иных мужиков
со стажем и опытом.
Словом,— тово! —
по росту ль тариф
за твое
мастерство?
Ты парень-то вроде
и вправду хорош,
но этой дорожкой
далёко
пойдешь,
и раз уж дорога твоя
далека,

то я все равно
потеряю дружка.
А чтоб не случилось
подобное
вдруг —
прости, старина,
ты мне больше
не друг!..»

7

А был я в ту пору
шестнадцати лет.
Достаточный возраст,
чтоб девочкам вслед
глазами волчонка
стрелять горячо...
Но было
при Вере
мне так хорошо,
что прочих девчат
я не видел в упор.
И раньше
мой кореш
мне это в укор
поставить не смел.
И мешать не мешал.
А впрочем,
и я его прав не лишал
быть третьим повсюду,
куда б мы ни шли:
на танцы ли,
в школу,
в гуляй-ковыли
раздольных,
горячих

Провальских степей...
Так было
до стычки с дружком,
а теперь —
и в цехе, и в школе,
и в клубной толпе
нежданно
остался
я сам по себе.
Ну ладно бы токарь,
но Вера-то что ж?..
«И пусть! И подумаешь,
пара святош,
чистюли мне тоже,
рабочая кость...» —
злословила ревность,
артачилась злость,
кипела под сердцем
обиды беда.
Но глубже других
было чувство
стыда.
Пред ними? —
Возможно.
Но прежде всего
стыдился я все же
себя самого,
и то, что я влип
не по личной вине,
двойною
обидой
саднило во мне.

Но маму обидеть,
отца упрекнуть
не смел;

не посмею я,
что там ни будь.
Родители святы
в российском дому.
Груз боли душевной
нести самому,
за все отвечать,
что творится вокруг,
учился
с младенческих лет я,
сам-друг.
Отчизна и Родина —
это оплот,
но мужем из отрока
станет лишь тот,
кто с детства
у горна
взбодряя дутье,
вверяет огню
свое сердце.
Свое!
И, вынув клещами,
из пламени — в лед
закалке
и пытке
его предает.

8

О, кузни прохлада!
О, жизни простор!..
Щенком ущемленным
входил с этих пор
под своды мехцеха
его слесарек.
И ватным казался

в руке молоток,
крейцмейсель
соскальзывал
с нужной строки.
В обед я сидел,
обнимая тиски,
не плакал,
но волком стенала душа:
«И жить хорошо,
и жизнь — хороша!..»

А жизнь
потрясала
своей прямотой:
шел первый
правдивый
полсотни шестой.
Неправда,
что мальчик
шестнадцати лет
дышал равнодушно,
взирая на свет,
открывшийся людям
закрытой страны.
Надеждой и гневом
потрясены,
мы души вверяли
новой волне.
И эта ответственность
тоже во мне
бурлила,
ярилась,
противилась,
жгла,
ведь вон —
по стране

революция шла.
Все люди едины,
а я одинок —
блатной,
то есть платный! —
отцовский сынок.
История,
        пенясь,
свивается в вал.
А я — отщепенец.
В груди
        коленвал,
казалось,
работает,
душу круша...
Но как она вдруг
                окрылилась,
душа,
когда я подслушал
слова кузнеца:
«Ты нам, Константиныч,
не порти мальца.
Ты «химик» и вправду,
быть может, хорош,—
химичь, коль не трусишь,
а парня не трожь.
Не важно
        по блату
иль так, по родству,—
не дело ребят
обучать воровству».
Механик спросил:
«Ты считаешь, я вор?..»
«Ты — химик.
Не мне выносить приговор
твоим фордебасам,

я им не судья.
Кузнец я,
и кончена
сказка моя!»

9

А мама тем временем
плачет:
«Дурак,
дневную-то бросил,
и вечерний бардак
за Веркой поплелся.
А что в той косе?
И жил бы, как люди,
учился б,
как все...»

Вот этим —
        «как все»,
«как другие», «молю» —
всю жизнь распрямят
и сломают мою.
Не мамина слабость,
по времени соль:
«На всех походи!»,
«Как другие, изволь!»
В анадырской тундре,
в колымской тайге
учили тому же:
«Ни шагу!», «К ноге!»
Кольцо несвободы,
догмата петля —
сужались все больше
с годами.
И тля

все гуще садилась
на царский пирог.
И царь спотыкался уже
о порог,
что сам же воздвигнул
и сам окропил.
(А чем окропил —
догадайся, дебил.)
Скажу лишь:
                    моча,
хоть царева моча,—
моча,
будь и цвета она
кумача!
Лишь прихвостням царским,
не ведавшим сна,
святою водицей
казалась она.

Побрызгал царек
на Манежа порог,
и ахнули хлопы,
узревши порок
в картинах,
скульптурах,
а позже — в стихах
больших мастеров.
И холопское — «Ах!» —
аукнулось: «Ух!» —
на задворках страны.—
«И мы у себя
раскопытить должны
такую же бяку,
подобную прыть.
Уволить!
              Понизить!

Унизить!
Закрыть...»
И. П. Феоктистов,
Сулим и Титов,
Е. Эберлин, Журов
и прочие тов.
в газетах, с трибун,
но повсюду —
                    с плеча —
учили, чем пахнет
царева моча.
...В отставке
одумался Царь, говорят.
А эти
и нынче
проснулись навряд.
Еще одного
переживши царька,
взирают
на бренную жизнь
свысока,
слова
        переплевывая
через губу:
«А мы — ничего,
ни гу-гу,
ни бу-бу.
Нам все равно:
                    плыть
по моче иль росе.
Мы хоть и старшины,
но в целом
как все...»

Ты лжешь, старшина!
Ты повинен вдвойне.

Вы веру под корень
рубили во мне.
Вы лгали народу,
и понял народ:
кто сладенько врет —
кучеряво живет.
И в том, что страна
опупела от сна —
осанн ваших
и колыбельных
вина,
вина ваших ножниц,
дубин и кнутов,
товарищи Журов,
Сулим и Титов
и прочие тов.
на просторах страны.
Уже вы в тени,
но еще вы сильны
в надежде восстать
в своей прежней красе
из масс,
где рядитесь вы нынче
в «как все».
И если вас
не опознает народ,
нас вновь ожидает
крутой поворот
в трясину маразма,
в болотину лжи...
Кузнец мой,
ведь мы
не допустим,
скажи?!

1987

* * *

Я жил безоглядно и юно,
с восторгом вбирая в себя
и знойные краски июня,
и звонкую даль сентября.

Студеные майские воды,
и стужа январского дня,
и всё —
и любые погоды,
причуды и чуда природы
в те дальние сладкие годы
лишь петь побуждали меня.

И мнилось мне:
это — навеки,
и сам я пребуду вовек,
единственный, может, на свете
крылатой судьбы
человек.

И думалось,
что бескорыстно
дано мне, как божья печать,
серебряной песней горниста
рассветные зори
встречать...

Не ведаю,
что приключилось,
но знаю: произошло.
И то, что мне крыльями мнилось,
что ранее к небу влекло,

то лямками
в плечи
вдавилось,
сомнением в сердце
вросло.

И лишь предвкушение слова,
вскипающего в груди,
хотя и тревожней былого,
а все же и юно и ново.
И выхода нет мне иного.
И жизнь еще вся
впереди.

* * *

В том городе, где столько неуюта,
где что ни шаг — мышиная возня,
я тоже, может, досадил кому-то,
как этот кто-то
надсадил меня.

И потому-то совести мученья
терзают ум. Ведь знаю, что ни дня
я жить не мог без этого общенья,
а он не видел
жизни без меня.

* * *

Уверовав в свою непогрешимость,
друг юности стал скучен и смешон.

В нем все как будто разом завершилось
и в пня подобье
превратился он.

Большой начальник маленькой опушки,
на лес дерев он смотрит свысока.
И вот уж нам, чтоб слышать вожака,
склонять к нему
положено макушки.

Восходит солнце иль густеет мгла —
душе его ни шатко и ни валко...
Сгубила друга чертова пила!
А — жалко.

* * *

О незабвенный Брут!..
Жил-был при друге
враг.
А тот полагал, что друг,
и верил ему,
дурак.

Замкнутый этот круг
словно неравный брак:
душу откроет друг —
потопчется в ней
враг.

А глупому
не в урок,
работает, знай, за двух.
И ходит в его мирок
перевести дух,

преодолеть страх,
перехватить руб
злейший его враг
по имени
Лучший Друг.

Такие вот пироги,
родные мои
враги.

* * *

Тяжело пробужденье поэта
после долгих воскресных забав.
Не случайно то мнение света,
будто вся его песенка спета
и давно уже дело — табак.

Но от полночи поздней — до полдня
путь таланта неисповедим.
Было пусто вчера, а сегодня
бесконечность
беседует с ним.

И, мотая башкою похмельной,
он встает, не страшась ничего,—
безлошадный опять,
безземельный,
бедный родственник мира всего.

И к столу он садится. И снова
на еще непочатый листок
вырывается прежде
не слово,
а прозрения радостный вздох!

И тогда,
наговорам не веря,
уж почти повернувшее вспять,
вновь привстанет взволнованно
время
краем уха
его услыхать.

* * *

С. К.

Мы пили темное вино
и были счастливы. Как ныне,
в полураскрытое окно
влетали бабочки ночные.

Струился дальних фонарей
чуть слышный свет. И звезд мерцанье
все радостнее и острей
владело нашими сердцами.

Далеко, в поле, за окном
пылил и пел аэродром
земным заботам на потребу.
А мы, под гул его и гром,
в высотном здании твоем
всех смертных ближе были — к небу!

Над той минутой высоты
и предвкушения полета
не властны времени пласты
и ржавчина, и позолота.

Но, высотою изумив,
та ночь прошла, родив тревогу,
что с ней — ступили мы на миг
на Леты звездную дорогу

и что мы шли по ней — вдвоем,
а прочее нас не касалось...
Но каждый думал о своем,
как много позже
оказалось.

* * *

Что упало, то пропало,
чему быть — не миновать,
что посеяла — пожала,
Ванька Ветров виноват.

И кричи теперь по свету,
голоси на целый свет —
ни привета, ни ответа,
за семь бед — один ответ:

— Не уеду — так забуду,
не умру — так отболит,
а уж битую посуду,
клеить битую посуду
мне и возраст не велит!

Пусть живется как живется.
Не забыть бы наперед,
что где тонко — там и рвется,
но...
до свадьбы заживет!

* * *

Ленивое море осеннего Крыма
игриво стирает
нарисованное на песке
твое холодное злое имя.

Но я рисую остервенело,
хочу, чтоб вздрогнула ты вдали —
как далеко мы с тобой зашли!..
А морю до нас — никакого дела.

И чувствую: там,
на зеркальном конце страны,
у моря Охотского, обледенелой щепою,
к коленке прильнув побледнелой щекою,
ты точно так же
меня бросаешь
на произвол
волны.

* * *

Не зови меня, не надо.
Исклевали воробьи,
словно грозди винограда,
губы спелые твои.

Не зови.
Но если случай
выйдет — сердце отвори
и впусти меня, и слушай,
и молчи, и говори,
и смотри без сожаленья,

но печально и светло
в осязаемое время,
что меж нами протекло,—

вдоль морщин у губ и глаз,
между,
но не мимо
нас.

* * *

Стройна, лукава, шаловлива,
огонь в очах, но молчалива,
вся — страсть внутри, а все ж тиха,
в шелках до пят, а все ж нагая,
волнующая такая,
еще не грех, но тень греха,

загадочна, необъяснимо
живая, проплывавшь мимо —
веков гомеровых ладья,
и грудь, высокая как парус,
вздымается, и пышет ярость
в колоколах ее. И я,

разбуженно, разворошенно,
как храм органом — оглушенно,
незряч посередине дня,
стою возвышенный и жалкий,
и страсти
черные, как галки,
летят
в
и
с
п
у
г
е
от меня!..

* * *

Чтоб от счастья засияло
просветленное лицо,

человеку нужно
мало.
А поэту надо
всё.

Не из рога изобилья,
не для собственных утех,
не для творческого пыла,
а вот именно —
чтоб было
всё!
И всюду.
И для всех.

ПЯТАЧОК

Притча

Пятачок лежал в пыли.
Мимо — люди, годы шли,
снеги буйные, дожди...
Он лежал и думал:
«Жди!

Все равно наступит год,
все равно настанет час,
чей-то взгляд да упадет,
кто-то да поднимет нас».

И в один прекрасный день
впрямь нашелся мужичок,
сквозь хандру свою и лень
разглядевший
пятачок.

Государственный мужик,
он вздохнул, наверно: «Эх,

жаль, что ты не золотник,
но ржаветь без дела —
грех!»
И, согласный с ним, пятак
лег в карман.
А дальше — так:

Бережливый мужичок
поспешил не в магазин.
Потускневший пятачок
опустил мужик
в бензин.

А когда наутро встал —
в хате,
солнцем залитой,
пятачок его блистал,
как червонец золотой!..

Сказка — ложь. Для дураков!
Умный —
братец! —
погоди,
золотых моих стихов
в дней пыли
не прогляди.

КОНЧИНА ЛЕХИ

Александру Лебединскому

Был Лешка непутевый человек.
Во все дела без устали совался.
Был тем известен, что объездил свет,
и тем, что от получки до аванса
подарками одаривая всех,

сам, извините,
с носом оставался.

На щедрость неуемную его
вокруг смотрели холодно, с опаской:
не дай господь, чтоб в случае чего
да не пришлось от сердца своего
ему ответить
щедростью и лаской.

Чтоб не случилось этого, о нем
смешки курили вдоль по коридору,
и синий дым — то юмора, то вздору —
людей на миг объединял в одном,
сплочал, что называется,
контору.

А непутевый,
не имея зла
в душе, лишенной зависти и страха,
любил их всех. Всем подлостям была
по вороту распахнута
рубаха.

Он был рассеян, радостен и зол,
всем улыбался, цапался со всеми,
и с завистью на Лешкино веселье
поглядывал
конторский комсомол.

Счастливый человек был Алексей!
На скольких партсобраниях шумели,
чтоб наказать,
чтоб гнать его взашей,
четвертовать! — туды его в качель...

А выбить дурь
до смерти не сумели.

Так он и умер
круглым дураком,
держа в зубах широкую улыбку.
И осторожно, бережно,
как скрипку
в футляр его укладывал местком.

Венки несли. Коллеги шли.
Бочком.
А гробовщик
усталым молотком
косился
на незапертую
крышку.

* * *

Вот ранняя осень
беззлобно,
подробно, как из году в год,
крупой в запотевшие окна
опять начала
обмолот.

И вздрогнули с жалостным звоном
все разом, как стоном одним,
семь стекол в проеме оконном,
восьмое —
под сердцем моим.

А завтра
чуть свет колыхнется

за черной недвижной рекой,
и первый ледок
отзовется
им той же звенящей тоской.

А там
запоздалые гуси,
невидные нам в вышине,
пойдут над просторами Ру́си,
ее сокрушаясь длине.

Ах, знаю я: Русь не убудет,
но что ж так тревогой объят?..
«Что будет,
что будет,
что будет?» —
вдоль осени
гуси кричат...

* * *

На краешек луга и леса
нежданно,
как юный повеса,
разбойничьим свистом шаля,
врывается лента экспресса,
и вздрагивает
земля.

И разом
в уютном и сонном
покое лесов и полей
как будто запахло озоном
и словно бы стало светлей.

А мы
с предосенней опушки
под пенье дрозда и кукушки
недвижно с тобою глядим,
как мимо мелькают окошки,
как тает сиреневый дым,

как просто
на молодость нашу —
наш опыт, любовь и печаль —
дня нового мальчики
машут
из поезда,
мчащего
вдаль.

* * *

Я приеду в этот край,
где душе и телу — рай,
где сады благоухают,
хоть ложись и помирай.

И прилягу я в траву.
Час пройдет — а я живу,
два проходит — жив, курилка,
и во сне и наяву.

Жив и чувствую спиной
нескончаемо родной,
летним солнцем разогретый
безмятежный
шар земной.

Но и в поле, и в саду,
в речке, в озере, в пруду,

в тишине прохладной ночи
все я жду чего-то,
жду.

Словно через рубежи,
лести чуждая
и лжи,
убегает без оглядки
ниточка моей души.

Что ж,
покинем этот край.
Пой, душа моя, играй,—
увезу тебя из рая
куда хочешь.
Выбирай!

Но опять ты мчишь
туда,
где вода уже тверда,
где ни зноя, ни прохлады —
холода да холода.

Возвратимся мы домой.
Грустные?
Ни боже мой!
По-простецки, но торжественно
обнимемся с зимой,

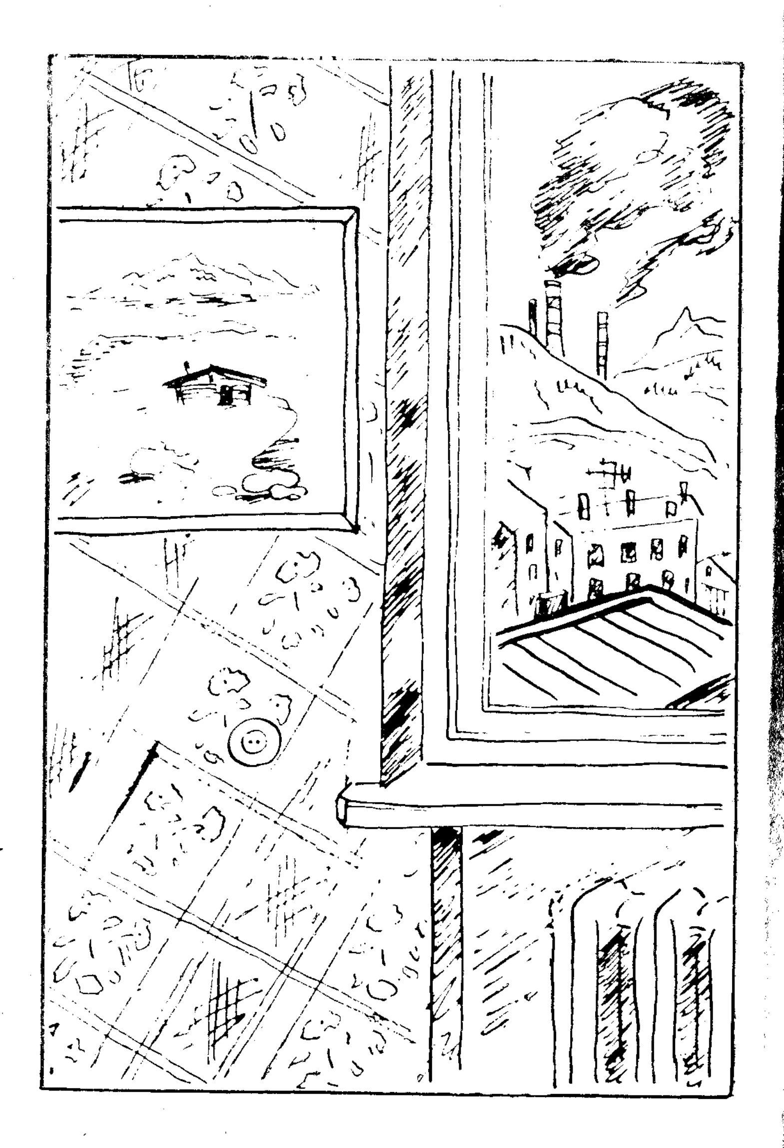
окопаемся в снегу,
пригласим к столу пургу,
запоем про все, что видели
на собственном веку.

И да будет в песне той
мир наш сложный

и простой —
озабоченный любовью,
правдой,
верой,
красотой.

Остановись,
мгновенье
света
и откровенья!..

Погожий день



* * *

Вик. Иванову

Здравствуйте, друзья зимы!
Снег отряхиваю.
К столу прохожу.
Чаю прошу. Покрепче!

Здравствуйте, сыны зимы.
Спасибо.
За то, что вы живы.
Состарились.
За то, что добры
остались.
За то, что вы есть у меня,
и я у меня
есть.
Спасибо!

Здравствуйте, рабы зимы.
Все мы — рабы.
Вечно — рабы:
чести, добра, страсти,
лучшего, что в государстве,
лучшего в вас, во мне,
той доброты в огне,
что, согревая души,
обязывает сердца
в ритм жизни
все глубже,
лучше
вслушиваться!

Здравствуйте, дети зимы.
Да, голоден. Там — не пища.
Свихнувшиеся умы,
страстей пепелища,
спокойствие, благодать,
ложь с лести очей не сводит
и некому в морду дать —
спасибо не скажут. Вот ведь
какая беда. А я
приехал к вам поделиться:
ссориться ль мне, смириться
с буйным таким собой? —
каждая жилка в бой
ночью и днем стремится.

И это не блажь, не спесь,
а вашей опоры сила!
О,
вы у меня — есть.
Спасибо.

ДОМ В МАГАДАНЕ

Поэма

Шумковым

Есть дом посреди Магадана.
Другими стеснен и забит,
давно он забыт,
а подавно
в последние годы забыт.

Лишь изредка шутят
(недаром!)
соседних домов этажи:

— Глядите-ка,
дом под забором,
как сломанный ножик, лежит!

Но ржавый, кургузый, дощатый,
всем телом и вправду
складник,
тот дом, словно выкрик прощальный,
грядущее с прошлым роднит.

Не знавший железобетона,
не ведавший кисти, резца,
с фасада он серого тона
и просто облезлый
с торца.

Он, может быть, в юные годы
имел молодеческий вид,
да вот искривили невзгоды.
О, время и сталь искривит!

Так в ходе истории лютом,
печатая злые шаги,
гудучее время
и людям
жестоко вправляло мозги.

А люди все двигали Время
и, личных судеб поперек,
полжизни —
скорее, скорее,
вперед торопились,
вперед!

Не ведая вовсе, не зная
и знать не желая о том,
что эта пробежка сквозная
одышкой им выйдет потом.

Но всем уготована старость.
Иная нас участь не ждет.
Зеленая
звонкая поросль
уже и за нами идет.

И завтрашним утром, быть может,
услышу я смех за спиной:
— Глядите-ка, мальчики,—
ножик!
Не дядька, а ножик складной!..

И я не обижусь. Чего там,—
шути, бесшабашный народ.
Но знай,
что и вашим заботам
настанет однажды черед.

Вот время проверит на годность
и в комнатах ваших сердец
поселит и горечь,
и гордость,
и грусть по себе наконец.

И кто-то моложе и краше
уже и за вашей спиной
вот-вот и обронит однажды
такой же смешок
не смешной.

И в эту минуту, наверно,
прозрением вдруг одаря,
надежда вас выручит,
вера,
что жизнь пролетела
не зря,

что в тучах строительной пыли,
держа на себе провода,
не вечно вы стройными были,
но нужными были
всегда!..

Есть дом посреди Магадана.
Уже он и стар, и щеляст...
А может, с рожденья
фатально
ему не хватало пилястр?

И может быть,
кариатиды
его еще вывели б в свет,
когда б не скупые кредиты,
не трудности давешних лет?

А в чем он виновен —
творенье
людских торопившихся рук?
Ему говорили:
скорее,
вот доски, вот гвозди, вот время,
вот дети —
укрой их от вьюг!

И где уж тут млеть над фасадом?
Он шансы свои подсчитал.
Окинул строителей взглядом.
И встал с ними об руку. Рядом.
А вскоре и первым детсадом
большим
в нашем городе стал.

Шли зимы. И весны менялись.
И время текло и текло.
Другие дома поднимались,
в бетон одевались,
в стекло.

И вскоре подумало Время:
«На данном отрезке пути
детсаду
другое строенье,
пожалуй, пора отвести...»

Как счастливы были ребята,
что взрослые вспомнили их!..
А дом провожал
виновато
птенцов беззаботных своих.

Обижен обидой жестокой,
крепился он что было сил,
но крякнула
первая
стойка,
осев на мерзлотный массив.

Потом расставанья и встречи
все чаще случались ему.
Жильцы стали вовсе не вечны:
глядишь,
не обвыкнутся вещи,
а место их — в новом дому.

Привыкнет к ребячьим проказам,
во взрослые вникнет дела,
а их уже в новую —
с газом! —
нелегкая понесла.

Заполни все комнаты грустью,
все окна — уехавшим вслед...
Обидно,
когда в тебе нет
причастности кровной
к искусству.

Обидна безвыходность эта,
осознанная тобой:
быть мусоропроводом века,
а не оркестровой трубой
и, преодолев неохоту,
надменность отдельных людей,
невидную
делать работу
во имя великих
идей...

———

«Есть дом посреди Магадана...»
Я это к тому говорю,
что сам я любовью
подавно
к подобным домам
не горю.

И мне, понимаете, тоже
по сердцу иные дома,
в которых не чувствует кожа,
что вот на дворе
Колыма,

зима с атрибутами лиха
и прочих невинных страстей...
Живи себе мирно и тихо,
встречай долгожданных гостей,

и пусть прилетают с Чукотки,
съезжаются с ближних дорог,—
найдем в холодильнике водки,
отыщем и хвостик селедки,
глядишь,
и уж ты посередке
простых человечьих тревог.

И главное ведь, что при этом,
сочувствуя всем наугад,
не надо укутывать пледом
худые колени и зад,

искать у друзей соучастья,
сжав руки на впалой груди.
Ведь стал бы я
символом счастья,
что их еще ждет
впереди!

Окинув мои интерьеры,
друзья бы спешили решить:
— В такой-то модерной квартире
еще б в Магадане
не жить!..

И мы бы шутили, смеялись,
и грелись бы мы наяву...
Но я, к сожаленью,
покамест
в квартире такой
не живу

и въеду ли вскоре — не знаю.
Да дело, как видно, не в том.
А в том, что вот я вспоминаю
сегодня тот старенький дом,—

тот грешный, слепой, деревянный,
поверивший тихим словам...
Три месяца
в крохотной ванной
он верно меня
укрывал.

Не требуя честного слова,
задатком вперед не грозя,
дом знал:
человека живого
на улице бросить нельзя.

И знал он то главное средство:
какой бы я ни имярек,
единственно ванной
согреться
не может живой человек.

А значит,
нужна ему дружба,
духовное нужно родство...
Как видите,
хилый наружно,
мой дом изнутри
ничего!

Не зря через шквалы и вьюги
и сквозь транссибирский мороз
пронес он заботу о друге,
заботу о людях
пронес.

Менялись эпохи и стили,
цвет верности лишь
не линял...

Но срок,
что ему отводили,
уже он, считай, отстоял.

И давит на сердце стотонно
сознание личной вины,
что дни деревянного дома
железно уже
сочтены.

Еще бы взрастил он кого-то,
но, скрепками сколот и сшит,
в проектах ближайшего года
он сносу уже
подлежит.

И в эту последнюю осень
еще он не знает,
что вот
с иголочки новый бульдозер
с конвейера завтра сойдет

и, лязгая новенькой сталью
(единственно чем знаменит!),
франтово подкатит к составу
и стекла вперед устремит.

«На Север!» —
заплещется надпись
на дверце. (О, первая лесть!)
А домику
зимнюю напасть
еще предстоит перенесть,

еще предстоит доборотьея
за добрую славу свою
на дне ледяного колодца
в суровом и стылом
краю...

«Есть дом посреди Магадана!..»
О, радостно мне сознавать:
прошедшему Времени
рано
над нами
торжествовать.

Оно еще в будущем где-то,
хотя и реально вполне...
Потоком неяркого света
закат серебрится в окне.

И смотрит в окошко
Оляшка —
бесхитростный человек —
на то, как уходит бесстрашно
его затихающий свет.

— Гляди, он совсем затухает.
Ты видишь? — его уже нет...
— И что же? — Оляха вздыхает.—
А завтра наступит
рассвет...

И большее Ольгу не мучит.
«Наступит»,—
и только всего...

Заката щекочущий лучик
у сердца щемит моего.

Не знаю:
смеюсь или плачу,
ору ли кому наугад:
— А вдруг я во Времени
значу
не больше,
чем этот закат!

А вдруг меня тоже низложат
во имя грядущего дня
и выведут завтра —
как лошадь
из штрека,
ни в чем не виня.

Но как они справятся
сами?!
...А время идет и идет
и в гуле текущих работ
не слышит моих
восклицаний.

Лишь эхом далекого грома
в ответ мне вздыхают друзья:
— Увы, биография дома —
и наша судьба,
и твоя.

Так все мы не более стоим,
как много порою ни мним.
На опыте прошлого
строим,
о личном геройстве
гремим.

Но выльется молодость в старость,
и счет подадут
не к словам.
Молись, чтоб хоть свая осталось:
сгодился бы хоть
котлован,

чтоб в тучах строительной пыли,
приняв от тебя провода,
другие дома
восходили
да люди б в них счастливы были
и было бы это
всегда!

...Был дом
посреди Магадана...

1972

* * *

Поэзия,
ты — школа высоты.
Уча нас устремленности к полету
в бескрайний мир Любви и Красоты,
не заслоняй, сестра моя, черты
того, что от людей
неподалеку.

О музыки заманчивая высь:
«Прекрасное должно быть величаво!..»
А я скажу:
прекрасное — есть жизнь,

земная жизнь, в которой — оглядись —
Зло и Добро
суть равные начала.

И вещий смысл поэзии не в том,
чтоб с высоты свободного паренья
красивого посредством говоренья
зажечь любовь к величию — симптом,
быть может,
лишь условного горенья.

Полет души —
и благость, и борьба
добра со злом, прекрасного с уродством.
И потому,
сестра моя судьба,
не воспитай в читателе раба
красивых слов,
да не гордился б сходством
высокого сиятельного лба
с возвышенным
душевным благородством.

ПРОВИНЦИЯ

Как ты мелка, провинция, о боже,
как честь свою задохлую блюдешь!
В толпе твоей незримым не пройдешь
и выделиться в ней
опасно тоже.

Ее гипертрофированный слух
скор на язык и легок на расправу.
Умри! — иль выбирай одно из двух:
вдыхать всю жизнь ее тлетворный дух

иль пить как мед
молвы ее отраву.

Сойди на нет, поникни головой,
да не болит коробка черепная
о том, что ты — увы — еще живой
и что она —
увы! —
всегда живая.

* * *

Улыбка — танцора
с кинжалом во рту.
Полны разрушающей ласки
то душу сверлящие, то пустоту —
пугливо-пытливые глазки.

На крик не сорвется. О стол кулаком
не грохнет в начальственном раже.
Такие стучать научились тайком,
не пачкая пальчиков даже.

И души они не ломают. Но мнут!
Сверкнет он улыбкой своею —
и слабый в коленках
двугорбый верблюд
склоняет
угрюмую
шею.

* * *

Человек,
оглядывавший горы

словно старый маршал на коне,
мысленно блуждавший в вышине,—
продавал на рынке помидоры
по нечеловеческой цене.

Сколько же вагонов помидоров,
ящиков с цветами и айвой
хваткой обнаженно деловой
затолкал он в эту синь просторов
над моей
бесценной
головой?!.

ГОСТЬ

Войдет в мой дом досточтимый брат
по цеху, стезе, перу,
ему я всем содержимым рад,—
будь проклят я, если вру.

Но полдень сник, уж в окне закат
зевает во всю дугу,
а гость елозит, юлит,— никак
понять его не могу.

Я золото мыл, аметисты искал,
из скал добывал агат,
а вот улыбки его оскал
не застолблю никак.

Знавал провидцев, и сам вещун,
край бездны доступен мне,
но глаз небесных его прищур
непостижим извне.

Шуршит его речь,
как в снегах капель,
как дождик весной в логу.
Но сколько воды дождевой ни пей —
не утолишь тоску.

Ходи. Входи, мой любезный брат!
Садись, я опять готов
глядеть, как ты топишь небесный взгляд
в мутном потоке слов.

* * *

Я счастлив был,
пока я мог дарить
все, что имел, без тени сожаленья
достойным, да и тем, кто, может быть,
уже тогда страдал от ожиренья
ума и сердца.
                    То была пора
единства тела, духа и пера.

Я счастлив был,
пока я мог внимать
с глубоким придыханием и верой
и тем словам, которых понимать
еще не мог, должно быть.
                                        Полной мерой
любви своей платить я был готов
за то, что мне их вверили. Потом

пришла пора
сомнений и утрат.
Еще не охладев к самоотдаче,
стремленью к ней я был уже не рад,

и все постылей жить мне было дальше.
И сжался я
в затравленный комок:
перо на ключ, а душу — под замок.

Но я был — Я,
пока мои мечты
в конце концов не пали с высоты
в земную грязь житейского сознанья
с его тоской
по морю доброты,
пощады и взаимопониманья.
И вот она — как следствие — пора
тщедушия
и праздного пера...

БУРЯ

Все доедено, допито,
пусто в доме и темно,
а уснуть не суждено:
ветер ломится сердито —
черный — в черное окно.

Не приблудный, не случайный —
еженощный, штормовой.
То задумчиво-печальный,
то конечно-изначальный,
то пустынно-громовой.

Ах ты боже мой! Какая
скука. Ненависть. Тоска.
Как вчерашнего трамвая
ждешь, скуля и завывая,
ждешь в отчаянии, зная:
не придет наверняка.

Не придет. Пути закрыты.
Не приедет. Нет его.
Волны памяти изрыты
временем. И гвозди вбиты
в двери мира твоего.

Что ж, трави себя, таращи
зенки страшные во тьму.
Все — актерство. Эти страсти
потеряли силу власти
над пространством. Ни к чему

привести уже не в силах
в прошлом
благородный гнев.
Заживо окаменев,
умертвил он в твоих жилах
жизни жертвенный напев.

И осталось... Что осталось?
Неразбавленная желчь,
неоправданная ярость —
как грохочущая жесть.
Но у той хоть повод есть!

Ветер, ветер. Ночь и стены.
Жизнь не чья-нибудь — своя.
Но картинно в грудь бия,
плачешь ты не от измены —
от отсутствия ея.

Ну, а мир —
в нем все, как было:
поровну добра и зла...

. . . .

Буря. Полночь. Не до сна.
Ставень хлопает уныло
в переплет окна.

ДНИ

Просыпаться, засыпать,
вновь проснуться ненароком,
чтобы с ужасом узнать,
что уже и 45
там — за стрелкой, поворотом;

что веселый звон колес
с каждым днем все глуше в чаще
поцелуев, смеха, слез;
что устал твой паровоз,
сострадания просящий,
в тишину хрипящий: «So-o-os!» —

полю, небу и реке,
человечеству и этой —
в близлежащем тупике
затаившейся: «Хе-хе!»,
в плащ зловещий приодетой

дуре с вострою косой
(что ж, что тень ее банальна? —
в неизбежности реальна,
час настанет — идеально
долг она исполнит свой).

Просыпаться, засыпать,
перед сном шептать проклятья
той, чьи цепкие объятья
убаюкали опять:

служба, дружба, круг забот
чисто суетных, семейных,
неотложных, неизменных,
властно ухающих в борт:

«Дай! Послушай! Принеси!
Вынь! Положь! Уйди! Останься!..»
Господи, иже еси,—
образумь, уйми, спаси
душу,
 выведи из танца
манекенов и теней,
ибо косности косней,
чем безумство ум имущих,
нет на свете. Да измучит
кровь — от кроны до корней,
до глубин души дремучих —
дни
 беспечности
 моей!
Просыпаться... Засыпать...
 Просыпаться.

* * *

Вдруг дойдешь
до такого предела,
где лишь ужас — и нет ничего.
Мысли выстыли, сердце зальдело,
не расслабить ни душу, ни тело,—
словно пуля незримо летела
целый день
 у виска
 твоего.

* * *

Что ты смотришь так оторопело
в этих строк печальную струю?

Не приемлешь песенку мою? —
господи, да мне какое дело!
Мама моя плакала и пела,
вот и я — и плачу и пою.

Видно, дело вовсе не в достатке,
суть не в матерьяльном рубеже,
не в осанке гордой, а — в посадке,
в неделимом далее остатке,
в солевом осадке на душе.

Так уж на Руси моей сложилось,
с древности далекой повелось:
петь о том, что славно совершилось,
и о том, что снова не далось,

что, быть может, прадеду мечталось,
спать мешало дедову уму,
потому и отпрыску досталось
и да хватит
                    внуку
                          моему!..

СОЛОВЬЕНЫШ

На волне молодого задора
и души золотого огня
много всякого сора и вздора
упорхнуло в эфир из меня.

Но ни телом разбойным не властен,
ни поступкам своим не судья,
был я счастлив воистину счастьем
соловьеныша. Труд соловья —

то уже мастерство вдохновенья,
сплав работы с актерской игрой.
Мне же было довольно для пенья
ощущения жизни самой.

Ах, давно уже не постреленыш,
в душных зарослях бытия
все придирчивей слушаю я:
не чирикнул бы мой
                              соловьеныш
вороватым баском
воробья!..

* * *

Зимним днем, когда в тиши
льдинками летают звуки
и бесшумно —
                    как стрижи —
лыжники, раскинув руки,

льдинки эти на лету
ловят радостными ртами,—
предынфарктники
                              сердцами
тоже рвутся
в высоту.

Разница, однако, в том,
что один из них
                              взлетает,
а другой, от страха, ртом
только воздух
и хватает.

День сияет. Даль звенит.
Сын по снегу семенит
и смеется. И не знает,
что мне сердце
леденит,
что так в жар его
бросает...

АКУСТИКА

Тишина
замешена так густо,
что невольно возникает чувство,
будто мир наш — скрипка до небес:
с виду в ней и холодно, и пусто,
но коснись — и улыбнется грустно,
захохочет,
загудит окрест
неподвижный лиственничный лес...

Так незрима и тысячеуста
скрытая акустика
искусства.

* * *

Выйду в скучающий лес,
в голые палки да елки —
в царство доступных чудес,
не представляемых без
запахов дыма и смолки.

Хворост у ног соберу,
спичку затеплю в ладонях.

Радостно встретив игру,
вспыхнет костер на ветру,
темень поежится в долах.

Клетку грудную сожмет.
Кто его, к черту, поймет —
сказкой повеет ли, былью,
влагой ли прелой пахнет,
звездной запахнет ли
пылью?

Но от вселенской тоски
или надмирной печали,
словно октябрьские дали,
вдруг
побелеют
виски.

* * *

За медленным возвратом лета
и быстрым прибавленьем дня
слежу,
как будто то и это
могло бы радовать меня.

А все не так.
Душа спокойна.
Она и в зиму свет лила.
Не потому, что непокорна,
а с тем,
что светлою была.

И ни морозы, ни метели,
ни холод комнаты пустой

теплом ее не завладели,
хоть и рядились
на постой.

И потому возврату лета
не вдохновляется она,
что грузом собственного света
давным-давно
полным-полна.

Лишь юность
полнится обидой,
переживая, как свое,—
исчезновение любимой
и возвращение ее.

А сердце зрелого поэта
для посетителей
мертво...
В разгаре северное лето.
Не полагаюсь
на него.

* * *

Виктору Кузнецову

Выходят валенки из моды,
одежда зимняя тесна
сердцам, пригубившим свободы
в дни пробуждения природы
от продолжительного сна.

Субботним утром,
в день воскресный,
лучась предчувствием чудес,

стряхнув вериги жизни пресной,
ручьями радостными — в лес
стекается народ окрестный.

И на полянах, меж дерев,
сняв пиджаки и пуловеры,
детишки и пенсионеры
свой хворост вносят в обогрев
прикарамкенской
атмосферы.

Горят веселые костры!
Перекликаются соседи,
как междузвездные миры,
сближая шумные пиры
парами выпивки
и снеди.

Гори, мой брат,
пылай, костер!
Отогревай от долгой стужи
зимы застойный разговор,
глазам открывшийся простор,
к теплу рванувшиеся
души.

* * *

В разгаре скрежета и гуда
у золотишников, в тайге
я повстречал однажды — чудо
на безмятежном стебельке.

Над валунами, на отвале,
ветрам решительным открыт,
цветок без имени и званья
смешно таращился в зенит.

На взгляд ботаника — бесценен,
средь биоманов — нарасхват,
в пейзаже том,
как сивый мерин,
он явно был несовременен
и неуместен, этот факт.

И сознавать мне было грустно,
что, виноватый без вины,
сей отпрыск чистого искусства
не знал
системы мер Прокруста,
не ведал золоту
цены.

Но полон дерзкого упрямства,
на грани часа своего,
он жил — как пел
и как смеялся
и был частицею пространства
и исключеньем
из него.

ЧАСЫ

В общежитии полярном,
битюгами популярном,
вечно шумном, на стене
в полуночной тишине
тихо
тикают часы.

Тишина — на уши давит.
Муха в форточку влетает,
кружится, как бомбовоз.

Ей вмонтированы в хвост,
тихо
тикают часы.

Я молчу. Я напрягаюсь —
взрыва жду. И чертыхаюсь.
Бомбовоз летит в окно,
а из мрака все равно
тихо
тикают часы.

Ни строки! Чиста бумага.
Спит Высоцкий в глотке мага,
Пугачева, Пьеха, Готт,
спит старательский народ,—
только
тикают часы.

Провались ты, наважденье!
Я пишу произведенье.
Я просил бы тишины!..
Но все громче со стены
тихо
тикают часы.

Я взрываюсь. Я взмываю.
Со стены часы срываю.
Точка! Выбросил давно...
Но в крови, как стук в окно,
неотступно и черно
тихо
тикают часы!

ЭКСПРОМТ ПРИЕЗЖЕГО ПОЭТА

Нагрянет гость залетный
из дальних теплых стран,
увидит наш холодный
Великий океан,
пустынные просторы
чуть залесенных гор,
век НТР
которых
не тронул до сих пор,

пройдет по новостройкам
и дебрям Колымы
и вдруг плеснет экспромтом
в замшелые умы
и битых, и хваленых,
все знающих окрест,
бывалых —
не залетных —
поэтов здешних мест.

И в спешном том экспромте
рабочего ума
пронзительнее вроде
предстанет
Колыма,
и время, и пространство,
и цели, и плоды
всего,
к чему так страстно
ты прилагал труды,

что вроде бы и видел,
а вот не углядел —
так был тот факт
обыден

меж дум твоих и дел.
А для его оценки
и нужен был как раз
незамутненный,
цепкий
художнический
глаз.

* * *

Не заслуга, быть может, а все ж
есть надежда подспудная, что ли,
что хоть в этих краях, а несешь
пусть частицу, но лучшей из нош —
сладкий груз всеобъемлющей боли;

что своею негромкой судьбой,
погрузившейся в массы людские,
ты в снегах продлеваешь собой
колокольное эхо
России;

что вдали от проезжих дорог,
в стороне от столичного шума
для оседлых, бродяг и сирот
тихо теплится твой костерок —
всех веков
неподъемная дума.

Так согрей, всколыхни, взвороши,
перелей в неживое пространство
смутный гул неуемной души —
той извечной российской души,
что в своем неприятии лжи
арифметике верст
неподвластна

* * *

На заброшенном полигоне —
колесо довоенной тачки.
Ржавое. Ни к чему не пригодное.
А выбросить не могу.

Мы присядем с ним у отвала,
поросшего карликовой березой,
тальником, тополями.
Время.
Самое время думать.

Главное —
не торопиться
с выводами. Но память
катится,
как двуручная тачка
по наклонной доске.
Чем нагрузили,
то и везет.

Правда,
колесо иногда соскальзывает,
тачка опрокидывается,
и тогда сверху
оказываются
тяжелые
золотые пески
подспудных воспоминаний.

Что скажешь об этом,
ржавое колесо?..
Рабочее колесо времени.
Колесо
жизни.

ВЕТЕР ВЕКА

Ветром времени
нашего бурного века
сдуло шляпу с бездумной башки человека.

Тот,
схватившись за голову, времени вслед
заорал: «Как ты смеешь?!»
А ветер в ответ
прогудел,
удаляясь
в межзвездную
тьму:

«Чище думай!
Не то —
и башку отыму...»

ПОРА

Когда весенний снегопад
на старый снег падет — об этом
явленье
просто говорят
в народе:
«Внук пришел за дедом».

Но внука праздничный кураж
не тем ли вызван,
чтоб мы сами
и серый день вчерашний наш,
и примелькавшийся пейзаж
его
увидели глазами;

и чтоб осевшие пласты
вчерашних догм —
смесь льда и пыли —
с достоинством, без суеты,
но знаньем собственной тщеты
с почв плодородия
уплыли?

А что там дальше, что грядет
за днями вешнего разлива —
подумай сам.
О том на диво
свежо поведал и сметливо
в других пословицах
народ...

1983

* * *

А меня
от всеобщего стресса,
от общения с тем, кто не мил,
водит лесенка
в заросли леса
к тишине молчаливых могил.

В дни особенно бурных и нервных
объяснений по скучным вещам
убегаю на кладбище первых,
бескорыстных еще
колымчан.

И, присев у холодной ограды,
я гашу неуместное зло
тем, что в праве на поиски правды

мне чуть больше, чем им,
повезло.

Пусть живется порою уныло
на виду и в объятьях жулья,
но того, что здесь некогда было,
не застал,
слава времени, я.

И еще утешает надежда,
что мой сын у ограды моей
сможет думать, сознание теша,
что его неприятности — те же,
да бороться он с ними
вольней.

Ибо время
застоя не терпит,
и течет оно знамо куда.
Сквозь листву на меня —
молода,
словно ягода алая,— светит
подновленная кем-то
звезда.

1980

* * *

Мы за жизнь боролись лучшую,
но от Ленина вдали
спеленали
революцию,
на слова перевели.

Огневища ее бурные.
косы, грабли и колы
растащили
на трибуны и
канцелярские столы.

Что ж, что мысль теперь караем мы?
Палка чует перевес
тьмы бумажек несгораемых
и лавсановых
словес.

Как ни топай в этой темени —
снизу вверх иль сверху вниз,
все
испариной на темени
проступает
коммунизм.

1969

И. Иванову-Радкевичу

* * *

Распишем роли,
и судьбу
пусть каждый выберет по нраву:
кому — отверстие во лбу,
кому изгнанье на Мылгу,
кому — прижизненную славу

А если что-нибудь не так
или схитрит оркестр в яме —
Увы! — мы скажем.— Судьбы с нами.
И обменяемся ролями,
но доиграем
наш спектакль.

1966

РЕПРОДУКТОР

Не могу стоять, не могу сидеть,
не могу лежать, надо посмотреть,
смогу ли повисеть?..

Из литинститутского
фольклора

Хочу разговаривать, как репродуктор,
чем дальше, тем неустанней,
о том, что нет недостатка в продуктах
в социалистическом стане,

о том, что Запад — в раздоры, войны,
кризисы — врос по крыши,
и — укажите мне
недовольных
там, где мой голос слышен.

Хочу разговаривать, как репродуктор,
висящий на бойком месте.
Хочу! Разговаривать. О продуктах.
Повесьте меня.
Повесьте!

1964

* * *

Характеры — навырост.
Но юность улеглась,
взрослеем, а наивность
не покидает нас.

Проходят мимо годы,
а всякий мнит свое:
те — делают погоду,
а те — блюдут ее.

Топорщатся карманы.
Заслугам несть числа.
Лишь мы среди нормальных —
в чем мама родила.

Шутам царя Гороха,
нам плата за перо —
от имени народа
угрюмое тавро.

Приемлем
как награду
и кару — по частям.
— Спасибочки народу,
— Спасибочки властям,

а в общем,
слава богу,
что аз и жив и есмь,
что в ясную погоду
слагаю эту песнь,

что совершенно даром
слетают со стрехи
на крылышках
Икара
наивные
стихи.

1967

НАД КНИГОЙ ВИЙОНА

Восходя на эшафот,
становясь к стене спиною,
трудно верить, что народ
снимет шапки надо мною.

Как поверить? — смерть
пришла
и она неотвратима...
В тишине — колокола.
Пес лежит невозмутимо.

Поле. Небо. Облака!
Разве в день такой стреляют?
Не иначе —
дурака
от безделия валяют.

Все, конечно, может быть.
Но ведь как поверить в это? —
Человека.
Вдруг.
Убить.
Вдруг.
Повесить.
Человека!

Вот винтовки поднялись.
Шутят?
Господи, да полно!..
Залп.
Я падаю.
Но — ввысь.
Это все еще я помню...

1970

ТРИ ПЫТКИ

Пригвоздили лжеца к столбу
и за ложь привлекли к ответу.
Отвечает.
«А я не лгу.
Просто сколько брожу по свету —
встретить правду сам не могу.
Может, вправду ее
нету?..»

Пригвоздили к столбу льстеца.
Заставляют лизать жаровню.
Побледнел бедняга с лица,
в палачах видит богу ровню,
извивается,
ластится:
«Ну хотя бы уж два яйца
положили бы
на жаровню?..»

Глядь — и впрямь
на сковороде
два яйца.
— Угощайтесь-де...

Правдолюба
к столбу пригвоздили.
Разговаривать — запретили.
Развели костер под копытки,
жарят пряные шашлыки,
заграничные пьют напитки,
чешут пьяные языки.
И — померкли
его зрачки!

Брал он смерть саму подмикитки,
шел под пули и на штыки,
а пришлось помирать
с тоски.

Знать,
молчанье —
страшнее
пытки!

1982

УСТНЫЕ СТИХИ

Остановлюсь у этой грани
и сокрушаюсь. Много лет.
Великих нету рядом с нами.
Больших — полно.
Великих нет!

Велик народ мой многоликий:
и сам судья, и сам творец.
Но и ему
пример великий —
как Пушкин! —
нужен позарез.

Чтобы культура не скудела,
чтоб жизнь —
как стих его —
текла:
то освежая сказкой тело,
то душу живу
правдой жгла.

Ох велики твои просторы,
моя родимая страна!

Но свет культуры в сеть конторы —
во все, по крайней мере, поры —
не проникает
ни хрена.

И до сих пор
по всей России
и в бар, и в олухов честных
каких же требует усилий
вбиванье истин
прописных!

И этот стих —
уж коль он жжется,
хоть в нем крамолы-то всего... —
читать мне устно вам придется.
Дурных-то нет.
                    Культурный — мнется.
Кто ж напечатает его?!

1980

ПОГОЖИЙ ДЕНЬ

Морошка наполнится всклень,
брусника стрельнёт под ногою,—
но радостный
редкостный день
вдруг смутной затмится тоскою.

Должно быть,
такие же дни
случались и в оные лета,
когда бедовали они.
И счастьем светились одни,
не слыша конвойного сленга,

не чувствуя тела и ног
и даже земли под ногами —
так солнечно-вольно денек
вставал над болотными мхами.

Других
этот жуткий контраст
меж явью земной и небесной
в бессилии ярости тряс
от гнева
о жизни над бездной.

А в третьих
ни горя, ни зла,
тем паче ни радости гордой
природа взбодрить не могла
уже никакою погодой.

Еще они были. В строю
кой-как телепались к забоям,
но боли и волю свою
смирили с повальным разбоем

А день равнодушно сиял
радушно-обманчивым светом,
на черный людской матерьял
бесстрастно взирая при этом.

...Колымские веси любя,
брусникой любуясь на склоне,
представь на минуту
                    себя
в трагической этой
колонне?..

1988

* * *

Верил Сталину. Верил Хрущеву.
И льстецам, и хулителям их.
Эту веру считал за основу
правоверных позиций своих.

И когда респектабельный Брежнев,
сдвинув брови, расправивши грудь,
слово вымолвил,—
батюшки, грешен! —
и в него я поверил чуть-чуть.

Орденскими блистая блинами,
вот и он обронил удила,
не оставив печали меж нами,
но и нам — ни двора ни кола.

Очи долу пред сыном вперяю.
Но опять, доверяясь добру,
одобряю я все,
одобряю...
А не грех ли на душу
беру?..

1988

ЗАКРЫТЫЙ ПОВОРОТ

Я шел — не горевал,
с дорогой говорил,
неблизкий перевал
меня к себе
манил.

Счастливо и светло —
все выше,
к небесам.
А что меня влекло,
не ведал я и сам.

Взошел, и хорошо,
и пой себе. Но в путь
я под гору пошел,
забыв передохнуть.

Лишь ахнул:
«Погоди!»,
невольно сбавив ход,
увидев впереди
закрытый поворот.

Как плачут тормоза —
враставший в них поймет!
Но там стоять
нельзя:
закрытый поворот.

Там слева гор стена,
спра...—
оторопь берет!
Обгона нет, и на-
до двигаться вперед.

Пусть не на волоске,
а все же,
как в трубе,
заранее в тоске
по самому себе.

Ну что же, брат,
тоска

не худшее из чувств.
Жива она пока —
и жизнь острей на вкус.

В ней страх и ночевал,
а все ж она чиста...
Прощай,
мой перевал
в беспечные лета!

Сожмись, душа, в кулак,
налейся кровью, боль.
Уж нам нельзя никак
расслабиться
с тобой.

Как ни опасен спуск
и как ни клонит в сон,
души полезный груз
мы к цели
довезем.

Но помни в свой черед:
отныне до конца
закрытый поворот
с тобой
глаза
в глаза.

ПЕРЕД ЛИЦОМ ГОР

Поднятия и провалы,
уступы и останцы...
Лишь с горного перевала
поймешь,
как земля горевала:

неизгладимы рубцы
неисчислимых отметин
незнамочисленных бед.
Перед величием этим
что твои страхи,
поэт?

Расплывчатоликий Янус,
бледный цветок земли!
Не волею обстоятельств
жизнь твоя устоялась,
песенки отцвели.
Суетность и всеядность
к этому
привели.

Истина стародавняя,
да вечно, увы, нова:
без радости и страдания
не исторгай рыдания,
не вороши слова.
Все твои причитания —
пó ветру
половá.

Поднятия и провалы,
уступы и останцы...
А всё-таки
перед вами
лишь я наделен правами
видеть во все концы:
сердцем лететь к вершинам,
разумом — в глубину,
пламенем, что по жилам,
всю ощущать
страну.

Необозримы выси.
Непостижим простор...
Но у души и мысли —
словно крепчают мышцы
перед лицом
гор.

* * *

Освоены ветра,
леса, моря и горы,
и терпкий дух костра,
и пенье топора.
Осваивать пора —
душевные просторы.

При свете дня, в ночи
в себе самом и в друге
услышь и различи
и разума потуги,

и сложную борьбу
желаний и наитья;
надежду, ворожбу,
сомнения;
событья —
как фактор внешних сил:
семья, среда, погода,
застой в умах иль взрыв
энергии народа.

Стань эхом,
превратись
в самозабвенье слуха,
и приоткроет жизнь
такие глуби духа,

где истина —
одна —
себя саму
корежит...
И ты коснешься дна.
И не всплывешь,
быть может.

ЗЛО

Колотится
о свет оса,
а тот невозмутим:
он перед ней — глаза в глаза,
она — боса пред ним,

сучит ножонками, стучит
крылами о стекло.
Увы, прозрачное на вид,
оно твердо,
как зло,—

чья сущность вся и естество
в том, что
как бы и нет его,
но натолкнешься лишь
и смотришь —
дальше —
сквозь него,
но, что обиднее всего,
стекла-то
и не зришь.

* * *

Идут года.
Мелеют реки.
Прогресс наук — из края в край.
И только люди-человеки
не изменяются, считай.

Уже не голодны, не босы
и в массе — шире интеллект,
но на извечные вопросы
все так же смотрит
человек.

Свались назавтра с неба манна,
звезда скатись ему на грудь,
он и тогда скривится:
мало!
Хочу еще.
Чего-нибудь!

ПРОВОРОВАЛСЯ ЛУЧШИЙ ДРУГ...

Проворовался лучший друг.
Не вдруг. Заведомо. А все же...
Работа валится из рук
и — временами — огнь по коже:
проворовался
лучший друг!

Лицо не выражает мук,
душа не выдает смятенья.
Прервался
дней непрочный круг,

а в нем еще блуждает дух
вчерашней неги и томленья.

Спокойствие —
как стрелки брюк.
Надменен взор. Вальяжна поза.
Влюбленно смотрит на старух,
сидящих в зале,— свеж, упруг,—
а вам-то здесь, мол,
что за польза?..

Каков спектакль!
Содельцы врут.
Иной вот-вот судью пристукнет.
Но отчего же взор мой тухнет? —
ведь это друг зарвался. Друг!
А стыдно,
словно я
преступник.

ВЗГЛЯД

Гудит,
клокочет людское море.
В его согласном и стройном хоре
душа волнуется и поет,
покамест память не полоснет:
«Оно мне надо — чужое горе?!»
А там,
за фразой,
и он встает:

набычен —
словно из гущи стада
губастым взглядом на мир косит.

И страшно думать, что это — правда,
что наше горе ему не надо,
свое
при нас ему
не грозит...

СОЧЕТАНЬЕ ПОДЛИННОГО С МНИМЫМ

Мне понятны эти перемены
в человеке, близком столько лет.
Просто раньше мы их не умели,
не хотели вытащить на свет.

Просто раньше все ему прощалось:
даже ложь из милых уст сладка,
даже подлость виделась — как шалость
милого душе баловника.

Что же нас отныне удивляет,
что же нам покоя не дает?
С ясна неба ливней не бывает,
гром впереди молнии не бьет.

В человеке, некогда любимом,
в юноше с красивою судьбой
сочетанье подлинного с мнимым
сами прозевали мы с тобой.

А теперь,
величественно спешась,
видим ли — прогнившую насквозь —
нашу малодушную беспечность
от широкосердого:
«Авось!»

ЛОЖЬ ЦЕНА

Неуживчив я стал, ребята.
Сознаю. Понимаю. Но...
Знать, и впрямь
завести мне надо
за душою второе дно

и под ним
хоронить от друга
и сиятельного врага
жажду чести и силу духа,
вечной истины пороха.

Но неужто —
скажи на милость,
да хоть в этот раз не юли,—
жизнь действительно
усложнилась,
а не мы ее довели
до воинственного абсурда,
столь удобного болтунам,
и в открытую и подспудно
страх внушавшим
себе и нам
перед честностью,
чей осторожный
путь и ныне, мол, всё тернист?..
Ладно.
Будьте вы осторожней.
Мне ж не надо неправды сложной,
я во лжи
не зело речист.

Вдоль по жизни,
душой наружу,

чтобы видели — нет в ней дна,
и без вас я пройти не струшу.
Ну а дружба?
Плевать на дружбу,
если дружбе той
ложь
цена!..

1978

ПОГАНКИ

Поганки на каждом шагу.
И — семьями! — шляпа на шляпке.
Помельче теснятся в логу,
крупней — на открытом лугу,
на взгорке — и вовсе
как лапти.

А впрочем, и в чаще лесной,
в траве тундряной и болотной
негодный народец грибной
то скатертью ляжет сплошной,
то стенкой ощерится
плотной.

О господи,
в наши-то дни,
на светом продутой полянке —
не банки, кульки и не склянки,
и даже не волки —
поганки,
поганки.
Откуда они?..

* * *

Рассвет еще нежен и розов,
тайга золотая свежа,
но, воздухом хрустким дыша,
в преддверии первых морозов
опять
леденеет
душа.

ПРОМЫВКА

У меня была
простая задача:
черенок совковой лопаты не выпускать из рук,
гонять валуны вдоль колоды, болотники раскоряча,
чтоб эта колода чертова
не забуторилась вдруг.

Чтобы пески
золотоносные, мутные —
будь ты неладен, господи,— чистейшей воды грязь! —
испытывали на прочность мои благородные мускулы,
а мозг мой и дух прочувствовали
с телом кровную связь.

Задача моя
была очень простая.
Не допускать простоя бульдозера — это раз.
И во-вторых: бульдозеров не допускать простоя, —
просторная
задача была
у нас!

Простую свою задачу
решал я умом и ломом,

ладонями окровавленными, задубелой спиной,
и потому сегодня — хватает колец влюбленным.
Хватает перстней
хапугам,
смеющимся
надо мной.

* * *

Ты не плачь, моя красивая, не плачь.
Настоящее от прошлого не прячь.
Не куплю тебе я перстень золотой
с горделивой бриллиантовой слезой.

Наше прошлое и проще, а прочней
в память врезалось не гранями камней
и не горсткой ледяного серебра.
Жили-были. Много видели добра

друг от друга и от множества людей.
Ты не плачь, моя счастливая, не лей
слезы горькие по злату-серебру.
Вспомни: жили не тужили на ветру,

крыши не было, а был над головой
звездный мир, недосягаемо живой.
Это было выше счастья и удач,
ближе дачи, ярче золота. Не плачь!..

«Я не плачу! — вдруг ответила она.—
Я не плачу, но и дача нам нужна.
Двадцать лет жила с тобою, как во сне.
Я проснулась.
Нынче золото
в цене!..»

СЕМЕЙНЫЙ ТЕАТР

Пришел домой.
Любимая — играла
давным-давно заученную роль,
слегка импровизируя порой,
но в целом сохраняя и настрой,
и общий смысл,
и дух оригинала.

Ушел в партер.
И долго из угла
глядел, как тень привычная металась
от льда паркета — к пламени стола,
с хрустальной мишуры — на зеркала,
в провал балкона броситься пыталась.
И думалось:
«А ведь когда б не старость,
не ревности ее элементарность,
а страсть любви вожжой ее ожгла —
великой бы актрисой
быть могла!..»

И ведь она
действительно — о боги! —
была достойна роли посложней.
То у нее подкашивались ноги,
то стан ее — Улановой стройней —
и впрямь как бы испытывал ожоги,
такие выгибая монологи,
что лучший мим —
дразнилка
рядом с ней!

Партер был тих.
Его не удивили

ни слез туман, ни блеск словесной пыли.
Курил и ждал, покорствуя судьбе,
довольный тем, что про него забыли:
«Ах, если б это все
да в водевиле —
я б тоже
аплодировал
тебе!..»

ПОРТРЕТ

Погляжу на свой портрет,
никакого сходства нет
между тем —
двадцатилетним,
вдохновенным, как поэт, —
и мужчиной средних лет,
в полном смысле слова —
средним.

В тех глазах лучится свет
и на все —
прямой ответ.
В этом взгляде бесприветном
ни вопросам, ни ответам
вроде как
и места
нет...

В МИРЕ ЖИВОТНЫХ

Приснились бодливой корове
рога в золоченой оправе.
А следом — виденье второе:

у власти она
и во славе,

в чести невозбранной и неге,
положенной как бы по чину,
на ялтинском греется бреге
и думает
думу-кручину:

«Вот стали рога золотые,
и незачем стало бодаться.
Да так я, поди, и в святые
коровы
смогла бы податься».

Но тут же подумала робко:
«Оно и не плохо б на троне,
да звание «божья коровка»,
чай, ниже
чем просто — коровье...»

В мозгах у коровы двоится.
Что выбрать по чину — не знает.
Святой-то корове доиться
вроде
не подобает.

Ан грех и с быками якшаться,
с подружками срамом делиться:
а ну как начнут потешаться,
как станет пора
отелиться?

И что ей отныне пристойно —
никто ей во сне не ответит...

Луна златорогая в стойло
сквозь щели коровника
светит,

душистое сено щекочет
ее шелковистые ноздри,
с шестка кукарекает кочет.
Но страх как буренка не хочет
снимать золотые
обноски.

Представит житье без короны —
и вздрогнет от нервного тика...
Мозги у коровы
коровьи,
а сны — человечьи,
гляди-ка!

СОСЕД

Что ни вечер —
сосед начинает
заунывную песню о том,
что умрет — и никто не узнает,
что он умер. О том и рыдает:
«Только вьюга меня спеленает
и оплачет. И дело с концом...»
Эта песня меня доконает.

Я сижу с деревянным лицом,
словно в прорубь меня окунают.
Представляю:
стакан его налит,
на тарелочке лук с огурцом,
на другой — ты смотри — ветчина ведь!

А вот я не родился певцом,
хоть душа у меня и стенает.

А о чем ей стенать-то, о чем?
Я как будто не стал подлецом,
хоть об этом никто и не знает.
И сосед. Между нами стена ведь.
(Только вьюга его спеленает...)
Капитальная кладка во всем,
что наш быт и уют
начиняет.

Мы красивы умом и лицом.
Наши души не трогает наледь...
Но сосед все поет
и не знает,
что терновым своим тенорцом
сам меня к нетерпенью склоняет:
скоро ль вьюга его
спеленает
и оплачет?
И дело с концом!

ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ ПУСТОТ

Обжитые покинув места,
разлетаются люди по свету,
словно где-то в заливе Креста
ждут судьбы золотые врата
разопревшую публику эту.

Как понять
ее массовый всплеск —
скользкий блеск двусторонней медали?

Что их гонит с насиженных мест
в неохватные разумом
дали?

Риск старателя?
Трезвый расчет?
Иль хмельная — от страха — надежда:
может быть, хоть когда-то, хоть где-то
повезет... повезет... повезет.

Повезет?
Ну конечно! Спеши
отлететь от порога родного,
как плевком оброненное слово,
как летает над полем полова —
вдоль по ветру,
за ветром,
и снова

в пустотемень
межи.

Не проклюнется робкий росток.
Чтоб она испытала восторг,
ей —
полове —
подайте раздолье:
Крайний Север
и Дальний Восток...
Перелетные птицы пустот.
Модный ветер
бездомья.

...От натуги скрипят лемеха.
Пар над пашней. И воронов стая.
А земля широка-широка!

И гуляет над ней
шелуха.
Поглядеть —
золотая!..

ЗИМА НАЧАЛЬНИКА ГЕОПАРТИИ

Г. Скирпичникову

Что ж ты ходишь туча-тучей,
друг мой длинный, черт худучий,
вечный «вьючный» человек?
Кормом, что ли, озабочен,
на ковре ли пропесочен
за грехи своих коллег?..

Он молчит. Глаза в тумане.
Но на их цветном экране —
титры дьявольской тоски.
Я читаю их и гасну:
«Жизнь,— мол,— катится по маслу,
вот в чем дело, мужики.
Это скользкое каченье
и внушает предвкушенье,
что нарвусь я на беду.
Это ж я — шатун облезлый —
вдруг попал на бал помпезный
и, вальсируя, иду.

Надо мной хохочут скрипки,
а я счастлив. Пасть в улыбке
разеваю до ушей.
И такой я весь послушный,
двоедушно-добродушный —
хоть Знак качества пришей...»

Он — молчит. А нам все ясно.
Что ж тут спрашивать напрасно?
Просто — длинная зима,
и под сводами конторы
нет душе его опоры,
кислорода для ума.

Вот к весне истают снеги,
и тогда на диком бреге
безымянного ручья
он откроет — не подшивку,
а промышленную жилку
драгоценного сырья.

И настанут дни — иные.
И глаза его льняные,
своенравия полны,
стрельнут: «Эй, кончай трепаться,
здесь не время прохлаждаться,
мне — геологи! — нужны».

Ах ты сказочный, родимый,
в дни почета нелюдимый —
искрометный в дни труда.
Знать, у матушки России
не иссякли
соль
и силы...
Не иссякнут.
Никогда.

ДОМ У ЛИМАНА

1

На рассвете,
словно катерок
из кипенья пены и тумана,
выплывет в сознании нежданно
домик мой дощатый у лимана —
юности далекий островок.

Будто к сновидению, прильну
к теплому от солнышка окну,
стену просоленную поглажу.
Ты плыви,
скрипи, мой катерок,
в сильный шторм и в легкий ветерок
до поры, пока не вышел срок
такелажу.

2

Голодно ли, прохладно —
спирт закушу рукавом...
Домик мой — как шаланда
во времени штормовом.

Укачивало, не скрою.
И окрыляло — не раз...
Предательством и любовью
время пытало нас.

Но в мире,
таком широком,
всем жаждущим дружбы — друг,
не отвернул он окон
ни от одной
из пург.

ВОЗВРАЩЕНИЕ К ДОМУ

Все родимо, все знакомо:
тот же берег, камни те ж.
Ветерок сентябрьский свеж,
как бывало. Нет лишь дома
юношеских
надежд.

Сердце грустью окатило,
желваки в кулак свело.
Что с того мне,
что с ним было:
наводнением ли смыло,
ураганом ли снесло?

Всех домов окрестных старше,
он еще бы жил как мог,
не мечтая о достатке,
всех пуская на порог...
Собираю дров остатки,
сочиняю костерок.

Пламя влажное — печально.
Горек дым далеких лет.
И душа моя
прощально
каждой искре
смотрит вслед.

Волны стонут монотонно.
Сердце ходит ходуном.
«Нету дома. Нету дома...»
Сам себе
теперь я
дом.

В УЭЛЬКАЛЕ У ВАЛЬГИРГИНА

Памяти чукотского поэта

1

Я приехал.
Мы печь затопили,
развязали рюкзак гостевой,
из вспотевшей бутылки разлили
в кружки
огненный «Зверобой»,

и в избушке
на краешке света
в окружении мартовских стуж
потекла, заструилась беседа
двух
с рождения родственных
душ.

Два поэта —
чукотский и русский —
ритуалам единым верны,
под веселое пение вьюшки
мы сдвигали железные кружки
в честь большой
человеческой дружбы
всех поэтов
страны.

За окошком всполохи качались.
По унтам сквозняками текло.
Но от строк,
что в тебе намечались,
мне уже становилось
тепло.

Нам бывало и хуже и лучше,
но в ту ночь,
приникая к окну,
понял я,
как сливаются души —
души розные
в песню.
Одну!

2

Его подстрочник прост,
как чистый лист бумаги.
В нем — отраженье звезд
и пург косые взмахи,

движение души
открытое, прямое —
как солнышко во ржи
и как дыханье моря.

Ты лист переверни,
ищи под ним, с изнанки,
часы поэта, дни,
чернильный след
обманки.

Но и с изнанки — весь
бесхитростнее птицы,
он — чист.
А где же песнь?
А песнь
внутри
страницы!..

* * *

Здесь ветер особенно лют,
мороз по-особому жжется.
Но люди открытее тут —
в краю дефицитного солнца.

А в чем их открытость? Да в том,
что запросто в душу впускают,
как в жарко натопленный дом.
Теплу они цену-то знают!

Но, будь вы и гостем в летах,
и гостем высокого званья, —
в душе не ходите в унтах.
Душа —
она штука
живая.

* * *

В этих снегах по плечи,
в бесстрастной их белизне —
то тяжелей, то легче,
то зябче, то жарче мне.

Не ведает лишь покоя
лава моей души
в этой глуши по пояс,
в этой
глуши...

* * *

Если б зимняя певчая птица,
грусть мою разгадав за версту,
не прильнула однажды напиться
к моему обгорелому рту,

не присела бы весело возле,
в неизвестные дали маня,—
может быть, меня б не было вовсе
или просто не стало б меня.
Но однажды свершенное чудо
быть им вечно уже не могло.
Не ищу — появилось откуда,
а куда, сокрушаюсь, ушло

и вернется ли в образе новом,
как январские снеги, чиста,
с птичьим щебетом, девичьим словом,
поцелуем в немые уста?..

ДИАЛОГ С ПОЭТОМ

Ю. Кузнецову

Хожу или езжу, летаю,
в мечтах ли пространство латаю —
которую зиму подряд,
которое лето — не знаю,
всем телом своим ощущаю
его изучающий взгляд.

Я слышал, он будто историк,
о правде душа его стонет,
из света веревки вия.

И как-то не выдержал я:
— Скажи, а чего она стоит,
стоумная правда твоя?..

В ответ усмехнувшись лукаво,
он молвил: «Не ведаю, право,
и знать не желаю о том,
что ищут слепые в потемках,
что прячут сквалыги в котомках,
мне страшно — и хватит на том.

Но страх мой в веселии тонет.
Мне ветры разбойные вторят,
хохочут мои соловьи.
Присядь — насмеешься до колик,
наплачешься, если нестоек...»
— Скажи, а чего они стоят,
веселые страхи твои?..

«И страхи мои, и веселье
полны приворотного зелья,
хмельны мои вещие сны.
Вдыхай их душою и телом,
а цену не спрашивай. В целом
они не имеют цены.

Бесценное — не создается:
аукается, поется,
а песня — крои не крои —
пусть эхом из глуби колодца,
но к умному сердцу прорвется
и солнце поселит в крови...»

— Скажи, а пока не поется,
что делать-то мне остается?..
«Ты слеп еще.
Просто — живи!»

ЗАЛИВ ОДИНОЧЕСТВА

...И скажет мне чукча
Иван Ульвелькот:
«Хороший ты парень, однако» —
и пот
со лба отирая, Ивана жена
добавит:
«Невеста, однако, нужна.
Приехал бы раньше —
могли бы помочь.
В Анадырь
учиться
уехала дочь...»

Родные мои,
золотые мои!
Отпели, однако,
мои соловьи.
Не станет рублем
золоченый пятак.
Жениться — не штука,
влюбиться бы
как?!

Терзайся, душа!
Негодуйте в крови
сиротские шарики
первой любви.
С годами —
любому —
ясней дураку:
немало-таки
напетлял на веку,
дожил до седин,

оглянулся, и — ах! —
лишь небо зияет
в его кружевах,
в пустых ячеях —
сквозняки, сквозняки...
Живут бирюки
у Недвиги-реки,
осокой и ряской
поросшей давно.
Залив Одиночества
дышит в окно,
зловещий в очах его
пышет закат...
Выходит,
вся жизнь пронеслась
наугад,
на ощупь, на слух,
на авось, кое-как,
и прямо,
а все же
наперекосяк,
в кругу, посреди
и во имя людей,
и слитно,
а врозь
с подноготной твоей.
И, стало быть, врал
генетический код:
«Рожденный любить —
от любви и умрет!»
Куда справедливей
стило о скрижаль:
«Любивший —
уже
не полюбит».
А жаль.

* * *

Еще совсем свежи воспоминанья лета,
коричнев на телах его загара след,
но в золото хвои тайга уже одета
и ясно, что назад возврата больше нет.

Но этот крупный дождь, обвал стеклянных бусин,
и радуга вдали, и солнышко из туч
пускай и ни при чем, а все же, ну допустим, —
как взмах твоей руки, ее прощальный луч.

И пусть надежды час недолог, мимолетен —
дождь отшумит в горах и облетит хвоя, —
но на холсте души — на лучшем из полотен! —
свет сердца твоего уже оставил я.

* * *

Вышел в ночь. И тут же, за порогом,
провалился в бездну ненароком.

Бездна приняла его как бездна:
равнодушно, полно, безвозмездно.

Ахнул он от страха и восторга —
так под сердцем сделалось просторно,

весело и жутко. Он летел
и затылком вечности касался,
сам себе галактикой казался,
макромиром
в мире микротел.

...Удивленно стыли на пороге
до зари
его босые ноги.

...А где же песнь?
А песнь
внутри
страницы!..

Через снега наискосок



Из Антонины КЫМЫТВАЛЬ

С чукотского

ЧАЙКА

Тревогой стекая с обветренных скал,
крича и стеная растерянно,
мечется чаячья отчаянная тоска
вдоль опустевшего берега.
По ком она плачет, упав в синеву?
Попробую, позову:

«Лети сюда, чаюшка, лети ко мне,
присядь и поведай смело,
в какой стороне и на чьем огне
сердечко твое обгорело?

Сестра моя птица,
не плачь, не грусти,
пусть в песню боль перельется.
Ты потеряла друга в пути?
Он скоро к тебе вернется...»

Но падает чайка с крыла на крыло,
и вот уже около месяца
призывный голос ее тяжело
между камнями мечется.

Где друг пролагает свои пути,
устанет когда скитаться?..
Не просто будет его найти,
еще тяжелей — дождаться.

Но не заламывай крыльев-рук,
рано еще отчаиваться.
Прилетит,
прилетит он —
твой милый друг.
На Чукотку
все возвращаются!

ИЩУ ЧЕЛОВЕКА

Ожидаю, ищу человека.
Нетерпенье с годами — острей.
— Помоги, вездесущее эхо!
— Помогите найти человека, —
умоляю друзей.

Не капризная прихоть поэта,
в этой воле — неволя моя.
— Укажи мне скорей человека! —
обращаюсь к планете Земля.

Мне не лодочник нужен, не возчик,
не на всех языках книгочей,
а всего лишь — души переводчик,
переносчик тревоги моей,

кто б, снедаемый собственной болью
и тревогой о судьбах людских,
смог открыть человеку любому
содержание мыслей моих:

«О землянин! Под крышею дома,
в зимней тундре от дома вдали —
слышишь гул орудийного грома,
содроганье и стоны Земли?»

О скорее, скорей, переводчик!
Разбуди нас — не поздно пока.
Вновь убийственной молнии росчерк
страшным светом хлестнул облака.

Это вновь полыхают селенья,
и рассвет где-то снова багрян.
Отряхнемте же с лиц умиленье,
ибо нам не простят промедленья
поколения новых землян.

Мой собрат по душевному складу,
по врожденному чувству вины
за приверженность мира к разладу,—
расскажи человечеству правду
об опасностях новой войны.

Подними засыпающих женщин,
объясни молодым матерям,
в ком вояк их кумир не развенчан,
кто на фронте родных не терял, —

пусть любимых мужчин образумят,
неуемных сынов укротят,
пусть их внуки голубок рисуют
и пусть голуби только летят —

в синеве и прохладе простора,
в величавой и гордой красе
над твоей головою, сеньора,
и над шляпою вашей, месье...

Не дай войне начаться, женщина!

Из Михаила ВАЛЬГИРГИНА

С чукотского

ПАРОХОД ПРИШЕЛ

В чукотский поселок пришел пароход.
Толпа повалила на берег
так, словно ее откровение ждет,
как будто взъерошенный этот народ
и верит глазам и не верит.

Казалось бы, что там — пришел пароход!
Неужто привычным не стало,
что как только солнце на зиму дохнет
горячим дыханием — лед отойдет,
глядишь, а на рейде уже пароход
гудит и вздыхает устало.

Но к праздникам не привыкает душа.
Пришел вот — и все населенье
от древнего старца до малыша
увидеть, услышать, потрогать спеша,
на пирс устремилось скорее.

Заждались? С чего бы! Полгода всего...
А впрочем, зажатые снегом и льдами,
они здесь, быть может, всю зиму гадали:
а вдруг в этих трюмах — такое, чего
они и в кино до сих пор не видали?..

Толпятся мальчишки. Спешат мужики.
Всяк хочет быть нужным и равным
и даже помощником первой руки.
Разгрузка — всем графикам вопреки!
И ночью и днем не стихают звонки
и скрежет лебедок и кранов.

...В чукотский поселок пришел пароход.
«Подумаешь!» — кто-то поддразнит.
Но тот,
кто в поселке подобном живет,
меня, полагаю, прекрасно поймет,
а я-то уж знаю:
пришел пароход —
в селении подлинный праздник!

БРИГАДИР

Бригадиру морских зверобоев
М. Рультытегину

Ночью долгою,
когда зима ярится,
пурги злобные в котле ее кипят, —
спит село. Лишь Рультытегину не спится,
до рассвета его старые ключицы
веслами
в уключинах
скрипят.

А с началом
промыслового сезона
долго спать ему и вовсе нет резона.
Презирающий и славу и молву,
спит он чутко,
словно утка
на плаву.

И лишь море
льды у берега взломает,
вешний ветер тучи с неба уведет —
бригадир свою бригаду по тревоге поднимает

и, пока мы забираемся в вельбот,
мрачно трубку табачищем набивает
и дымит себе,
как старый пароход.

Все он видел
в море этом, в этом мире.
Опыт многих поколений в бригадире,
многих промыслов и долгих черных зим.
Мы и впрямь —
как ребятишки
рядом с ним.

Светом счастья
полыхают наши лица.
Мы стараемся, уверенные в том,
что при лучшем бригадире
быть нам в худших не годится,
нужно только потрудиться,
а потом
пусть ярится непогода,
море пенится и злится, —
без добычи
мы на берег
не придем.

Мы придем,
победой новою горды.
Сдан экзамен. Но не кончены труды.
Вновь моржи зовут нас в море
с удаляющихся льдин —
и опять светлеет ликом,
и спускается к вельботу,
и раскуривает трубку
Рультытегин-бригадир.

МАМИНЫ РУКИ

Ушла моя мама...
И лишь в разлуке,
в сутолоке быстротекущих дней
все чаще теперь вспоминаю руки —
рабочие руки мамы моей.

Что слабы они —
эти руки не знали.
Незаменимы, кругом одни,
скольких детей на себе держали,
скольких вынянчили они!

Мягкие, ласковые, родные,
под грустную песенку у огня
в ночи морозные,
в дни пурговые
они убаюкивали меня.

О крепкие,
сильные руки мамы!
Когда болел ее слабый сын,
они его на ноги поднимали.
Они из сынов растили мужчин.

Еще эти руки
красивыми были!
Иглой костяною, за нитью нить,
они из шкур нам одежды шили,
каких мне уже
никогда не носить.

Всю жизнь
не знали иной науки,

кроме труда во имя детей,
шершавые,
добрые,
теплые руки —
рабочие руки мамы моей!

РЕЧКА ПРОСНУЛАСЬ

Трепетнее олешка,
впервые почуяв страх,
дочка июня — речка
резво бежит
в горах.

Боязно,
а смеется,
копытца по дну стучат.
Мчится,
лучится,
льется,
дышит,
змеится,
вьется
в воздухе, полном солнца,
легкая,
как чаат.

А ведь совсем недавно
не было здесь реки.
Это июнь нежданно
льды искромсал
в куски,

и, к берегу их прижавши,
вольный летит поток,

словно с цепи сбежавший
(тоже впервой!)
щенок.

А солнышко светит, светит,
речные поит струи.
Что речка в пути ни встретит —
в объятья включит свои.

В горах не стихает эхо.
Речка не знает сна.
И лишь от быстрого бега
в испарине вся она!

ТАНЦУЕТ ДЕВУШКА-ЧУКЧАНКА

В камлейке,
украшенной бисером тонко,
на клубную сцену выходит девчонка,
и в клубе становится сразу светлей.
В веселых глазах ее светят огни,
сережки и бусы сверкают на ней,
а в косы ее — две звезды вплетены.
И вся-то она,
будто лучик сиянья,
исполнена света
и ликованья!

Недвижен
безлюдный, нетопленый зал.
Но вздрогнули первые звуки ярара —
и словно на сцену надвинулся шквал,
и там,
где недавно девчонка сияла,

тревожно уже заметалась гагара,
стеная и плача.
А звуков обвал
все близится,
ширится,
все нарастает.
Вот девушка чайкой над морем взлетает —
порывист,
стремителен этот полет,
аж сердце заходится в страхе.
Но вот
мгновенье —
и руки ее без усилья
спокойней,
парят уже, как журавлиные крылья,
и вот уже стан ее чуткий и взгляд
задумчивей,
шире летят...

Ах, эта девчонка
не знает предела!
Пронизано музыкой гибкое тело.
Доступны ей образы норки, песца,
походка старухи, ужимка юнца.

...Идет репетиция в клубе.
К концерту
готовится девушка эта не зря,
ведь скоро она
выступает в райцентре
на празднике
в честь Октября!

Из Владимира ТЫНЕСКИНА

С чукотского

ЯРАР

Сколько лет этот бубен висит на стене?
Много. Ой, много!
Звук его из далекого детства мерещится мне:
— Бум, бум, бум!..

Музыку страха,
музыку горя,
музыку буден
в сердце мужчины опять воскрешает
заброшенный бубен.

Вот он
молчит на стене,
полон своих дум,
и сердце мое
оживает во мне:
— Бум,
бум,
бум!..

Помнишь ли, стойбище,
помните ль, скалы,
эту игру —
рокот —
то громкий,
то тихий и дробный
на грозном ветру?

Это —
отец мой

ночью пуржливой,
сам
    старый, как ночь,
гонит из полога
вестников голода,
                        старость и грусть,
                                        прочь.
Это —
     бродячий шаман лечит мою сестру.
— Мама! Где наша сестра?
                                ...Нет ни сестры, ни мамы...

А это —
        все стойбище,
став на колени— áга-агá-га —
гонит Келé
от яранг и оленей,
и бубен гремит, как пурга.

Против духов
хвори, ненастья,
ради людских дум
рад был он биться,
рад был стараться:
— Бум, бум, бум!..

Сколько лет нашим дедам служил — он забыл.
Сколько содрано шкур со спины — не заметил.
Все хотел быть помощником в жизни, а был
разве лишь утешителем в смерти.

До свиданья, ярар. На почетной стене
ты — старей стариков, дослуживших до пенсии.
Слышишь? — новая музыка в нашем селе
и другие отныне —
песни!

ОЛЕНЬ

Не случайно народ мой издревле считал,
что Олень его жизнью и радостью стал.
В стаде новый теленок — значит, праздничный день.
Сердце тундры — Олень! Песня тундры — Олень!

И, явившись на свет, лишь глаза я открыл —
жизнь свою я оленям уже подарил,
потому что считалось так в те времена:
мне не жить без оленя — ему без меня.

Но, взрослея, из полога выбравшись вдруг,
я однажды затих, озираясь вокруг,
и впервые, быть может, подумал тогда:
«Кто же есть я на свете? Зачем? И куда?..»

Но шептала мне тундра, мягко гладя колени:
«Успокойся, малыш. Для тебя есть олени...»

А меня волновало другое. С утра
я бежал к ней с вопросом, проросшим во мне:
«Велика ли ты, тундра, на этой земле,
или ты — лишь отдельная эта гора,
вьюжной ночью теряющаяся во мгле?..»

Но сердито в ответ мне шуршали кусты:
«Возвращайся! Ты будешь оленей пасти!..»

А я рос. И не мог возвращаться я вспять.
Вот уж землю хотел бы я на руки взять.
Я — родную ее — отогреть был готов
сердцем юным своим и дыханьем садов —
тех, что сам бы я в тундре хотел посадить,
только б злого Келе навсегда победить.

Но осенние ветры завывали в экстазе:
«Эй! Олени тебя ожидают, мечтатель!..»

А потом полюбил я. И, тайной маня,
«Где же прячется радуга?» — волновало меня.
«И куда исчезает грусть из девичьих глаз,
если любит она?» — думал я много раз.

Но гремела пурга о рэтэм тяжеленный:
«Эй, влюбленный, — пора! Прозеваешь оленей!..»

Так, родившись едва, слышал я что ни день,
что вся жизнь моя — только чаат да олень,
уготован для них я! Нет иного пути.
И казалось бессмысленным дальше идти.

Да... Но тундру родную, чьи скалы и мох
прикипели к душе моей,— как же я мог
презирать? Так, наверно, трава б не смогла
ненавидеть пустырь, на котором росла,

так, должно быть, забыть не вольны журавли,
в синем небе паря, о просторах земли —
той, суровой земли, где окреп их полет...

Моя тундра! Твой вечно не тающий лед
не страшил меня, нет. Своим дедам под стать,
мог и я б свою старость с оленями ждать,

но хотел я познать необъятный простор
за плечами пургою окутанных гор
и поведать мечтал людям дальних краев
о народе моем.
О народе. Моем!

КЭРКЭР

Есть слова — им не учат. Врастают они
как бы сами собой в нас
в те первые дни,
когда мысль,
из ничто пробуждаясь едва,
слышит звуки, и только. А сами слова
много позже значенье для нас обретут:
мама,
тундра,
олени,
яранга,
пастух,
кэркэр...
Думал ли я,
в сладком сне прислонив
к его меху головку,
что значат они —
эти звуки гортанные в речи людской?
Кэркэр был для меня частью мамы самой!

Слово «кэркэр»...
Лишь позже сознанье мое
с ним связало нелегкое наше житье,
и увидел я в нем
символ тягостных пут,
что народу
свободно шагать не дают,
предрассудки и страхи далеких времен
вдруг открылись мне в нем,
вдруг открылись мне в нем.

Меховой.
Без застежек.
Комбинезон.

А впервые
с олешком приснился мне он.
Из мешка мехового не выпутав ног,
бился слабый теленок и блеял во тьму,
только выбраться к свету
ни сам он не мог,
и никто не спешил почему-то к нему.
Еле слышно звенел колокольчик на нем.
Я спросил:
«Что ты в кэркэре делаешь днем?
Кто тебя посадил в человечий мешок?..»
«Я — земля твоя, — он мне сказал, — малышок.
Ты еще несмышленыш, но вот подрастешь —
очень многое, может быть, в жизни поймешь.
В этом кэркэре
я уже тысячи лет!
Как мне выйти на свет?
Как мне выйти на свет?..»

С той поры
этот сон я не в силах забыть.
Он учил меня видеть, учил меня жить
и сильнее любить беспредельный простор
в кэркэр снега одетых, синеющих гор,
эти травы,
пробившие чрева камней!
И все крепла уверенность
в цели моей:
жить затем,
чтобы смог мой оленный народ,
скинув прошлого кэркэр,
ясно видеть вперед,
чтоб однажды свежак
перемен зоревых
сон о кэркэре выдул
из мыслей моих!..

ПУРГА

Опять и опять пурга завывает:
«Ё-о, ёо-о!.»
Зовет-зазывает
далекое детство мое.

«Пурга —
это буйство ветра и снега.
В пургу и земля и огромное небо
кажутся заблудившимися. Во мгле
прячется солнце». А мысль во мне
сперва замолкает, словно подранок,
затем,
срываясь,
несется
вдаль,
как пуля в кино за рамки экрана.
И нет ей удержу. И тогда
представлю я вдруг,
что пурга — дыхание
самой земли; что ее приход —
это затем, чтоб проверить народ,
жизнь земную
на затухание.
Есть ли силы? Здоров ли дух?
Способен ли этот народ бороться
за то, чтоб в ярангах огонь не потух
до возвращения солнца?..
А что?
Я теперь уже видел Юг,
Восток и Запад. Но понял прежде
всего,
что он больше — Солнечный Круг —
на Севере,
только вот виден — реже.

Северу меньше отведено
природных благ и вселенской неги,
поэтому все здесь подчинено
с рождения
думам о солнце и снеге.

Но и в самые пурговые года,
в ненастные и горевые годы
народ
не отчаивался
никогда,
потому и живы
северные народы...

Передо мной года пронеслись.
Я стал взрослее, мой ум естествен.
А все же порой вспоминаю мысль,
меня посетившую
в дальнем детстве:
«Пурга —
дыханье земли моей —
приходит
на жизнь поглядеть сурово:
есть ли сила
и дух
в ней?!
И уходит,
чтобы прийти снова».

МАТЬ

Мы много слов
за сутки произносим.
Одни — сквозь зубы, прочие — легко.

Одно услышим — и печаль отбросим,
другое —
и уехать далеко
захочется.
Не к говору иному,
а к тем краям,
где, освежая грудь,
сильней щемит по дому дорогому
ничем не затмеваемая грусть.

А есть слова,
что радостью пьянят,
сердца людей навек соединяют.
Слова роднят, врачуют, и винят,
и наповал порою
убивают.

Лишь в слове «мать»
оттенки всех страстей.
Но радостно звуча или печально,
оно волнует устно и печатно
неслыханной вместимостью
своей.
Произнесу —
и затуманит взор,
и радостная память воскрешает:
вот летний дождик по рэтэму шарит,
разводит мать на берегу костер —
единственного хариуса
жарит.

А дождик тот
вторые сутки шел.
Он застил мне заманчивые дали.
А хариус был палкой оглушен —
в ту пору мы о сетке
не мечтали.

Еще я вспомню
маму за шитьем,
когда она, бывало, до рассвета
кухлянку шьет для чаучу, чтоб днем
ее детей
он покормил за это.

И вспомню слезы мамины,
когда,
отца с дежурства ночью ожидая,
она вдруг каменела, словно зная,
что к нам уже приблизилась
беда.

А на излете
памятного дня,
когда отца я стал искать некстати,
мать, плача, только гладила меня:
«Он на дежурстве,
заночует в стаде...»

И безотцовства
первая зима,
что сердце мне морозом расколола,
в глазах моих растянется сама
в улыбку злого чаучу
Алёла.

О, та зима!
Она в моих глазах —
как чаат дыма,
что вставал из леса,
но, как Алёл,
не ведал интереса,
что мерзнет мама
в рваных торбасах.

А мать строгала
жерди для яранг,
чинила нарты сытому соседу,
и стук ее мужского топора
уже тогда
рубил меня
по сердцу!

Но тем упрямей
с каждым новым днем,
едва заря за сопки откочует,
я ждал отца,
я спрашивал о нем,
но мама лишь склонялась над шитьем:
«Он на дежурстве.
В стаде
заночует...»

ВИЖУ МОРСКУЮ ВОЛНУ

Как пляшет
волна морская
под дудочку ветра!
Ох, пляшет!

Но чуть уляжется ветер,
тут же затихнет море,
словно затухнет.

И вот уже,
обессиленное,
лежит, как ленивый пастух, —
огромное море,
сильное море,

растерявшее
            стадо
                  волн.

Вот на его блаженство
глядя, подумал я:
«А что?
Чтоб себя сберечь,
чтоб для себя у вечности
урвать хоть одну минутку,
может, не стоит плясать
ни под чью
дудку?

Может быть, надо
вот так же лечь
и лежать,
и не ждать никакого ветра,
а ощущать в себе
       только
       свой
       танец?..»

Из Сергея ТИРКЫГИНА

С чукотского

МАМА

Как давно это было!
По утрам меня мама будила
голосом нежным,
словно говор воды
среди свежих весенних трав.

Где тот шепот?
Где сладкие эти слова?
Не восходит ее голова
надо мной
          в ореоле волос,
что, бывало,
сияла в рассветных лучах,
будто второе солнце.

Наконец-то — впервые! —
она обрела покой.
Не тревожат ее наши весны и зимы.
Но в сердце моем,
негасимы,
все чаще и чаще теперь звучат
негромкие мамины песни —
о счастье и доброте,
о путях и кочевьях,
на которых отныне мне предстоит
жить и мыслить,
мыслить и жить.
Мыслить...

ПЕЛИКЕН

Пеликен,
чукотский божок, —
бессловесный привет
из времени далекого неолита.
Загадочной сказки туманный свет.
Осколок древнего быта...

Да, улыбка твоя
белее белого снега.
Но почему так спокойно,

так жутко и безразлично
скользит она по лицам и душам,
перепрыгивает
с одной души на другую?
Может, она — молчаливый крик,
улыбка отчаянья
обреченного на молчание
первобытного человека?..

Пеликен,
ты не брат мне по крови,
не брат по судьбе.
Я рожден открыто смеяться,
открыто любить
и откровенно не верить
в холодную неизбежность судьбы,
как в твою помертвелую, белую,
неживую улыбку...
Это мой предок
врезал ее в тебя.

Он спешил,
он хотел в ней увековечить,
остановить
мгновение творческой радости.
Руки его светились и пели,
но над душою
витал безотчетный страх.

Вот почему
улыбка твоя — чернее полярной ночи,
холоднее и горше ветра,
ибо это — улыбка жути,
улыбка вселенской тоски,
гримаса минувшей жизни.

Пеликен, чукотский божок, —
окостеневшее эхо своей эпохи,
хороши ль дела твои или плохи, но...
Имени собственного у тебя нет,
собственного голоса — тоже нет.
Место твое в музее.

Я НЕ ОДИН...

Зима.
В северо-западной части неба
одинокая светит звезда.

Я лежу на склоне горы.
И безмолвие ночи
проникает в самое мое сердце
и порою приводит с собой
одинокую гостью — грусть.

Но сейчас мне не до нее.
Я полон мыслей о лучших друзьях,
я не один,
и мне от этого легче.

А по склону поземка стелется.
Эти шорохи, этот свист —
природы ли беспечальный мотив?
Или сон земли о весне? —
прекраснейший из земных снов.

ПОМНЮ

В дни осени начальные, когда
еще они чисты, как лед, а лето
уже уходит со своей поклажей
им созданных, рожденных им красот, —

ищу я счастье в запахах и звуках
всеобщего старенья, угасанья,
прощания. А на душе легко.

Прощанье с летом — это не навеки.
Я счастлив тем, что я за ним бегу
от дел обычных, от домашней скуки,
ведь осень — знают все — пора забот.

Мчу за волнами уходящих трав,
чтоб повстречать рождение рассвета,
рождение ненастья на просторе
и крик летящих к югу журавлей.

О, как прекрасна стайка этих дней,
простора полных, музыки и света!
Они — живые души и в себе
несут восторг и боль, печаль и радость

Я с трепетом вхожу в их ясный круг
и чувствую бег сердца. И кричу я:
«О день бегущий, о летящий день,
остановись!

Хочу, чтоб ты был вечным!
Не уходи. Возьми меня с собой,
не отрывай от юности!..» Но время

уходит без оглядки. Я иду
до немоты за ним. И открываю,
что вдруг ступил на зрелости порог.

Так вот кто ты,
день предосенний мой!
В тебе я вижу лица из былого,
и радости свои, и неудачи,
и перекрестки троп своих,
где детства
еще не стерлись первые следы.

Ну что ж, вперед!
И пусть продлится день.
Мой путь прервется вечером. Но знаю:
не ранит меня вечер. Как не ранит,
что все желтей вокруг меня трава
и осени отчетливей дыханье.

. . . .

Мне холодно от тундры вдалеке.
А с ней — тепло. Сочувствия не надо.
Я не хочу обманывать себя,
мечтать о том, к чему душа не рвется,
чего для сердца как бы вовсе нет.

Живу — не жалуюсь. И нет во мне обид.
Не жду похвал и лестных одобрений.
В ладонях грею честные слова,
и мне тепло от этого. А вам
пусть будет там тепло,
где вы живете.

Из ваших мест я в тундру тороплюсь,
несу с собою радостные вести,
и все мне рады. Здесь учусь ходить
походкой твердой. Побеждать невзгоды.
Любить и верить. Верить и любить.

Лети, мой день! Я за тобой спешу,
сливаясь с ветром, травами, простором.
Я — сын просторов этих. И о них
слагаю песни. И пою.
И всюду
встречаю понимание людей.

Лети, мой день!..

Из Валентины ВЭКЭТ

С чукотского

СЛУШАЙ МЕНЯ, ДОЧУРКА...

В тундре завьюженной,
в зимнем пологе —
древнего жирника
яркие всполохи.

Это — чтоб ярче гореть он мог —
девушка в жирник
(время от времени)
подкладывает сухой мох.

Нитки из жил оленьих,
костяной наперсток, иглу
рядом с жирником — ближе к свету —
мастерица кладет в углу.

Вот шкуры для кройки
под колени швея расстилает,
влюбленной ладошкой
легко их и нежно гладит —

от яркой расцветки
в глазах рябит.
Пальцами девушка мерит,
острым ножом — кроит.

Сшила кухлянку девушка.
На сельскую улицу вышла,
ног под собой не чуя,
завистливых вздохов не слыша.

Увидел швею-красавицу
лучший из всех парней —
сон потерял, а вскоре
женился на ней.

Сделал подругой жизни
до последнего дня.
Слушай меня, дочурка,
слушай меня.

Вырастешь — испытаешь
томленье огня в крови.
Учись красоте у жизни,
а у людей — любви.

Шить научись красиво,
чтоб тот, кто тобой любим,
был горд и красой твоею,
и мастерством твоим.

Из Любови НЕНЯНГ

С ненецкого

ДЕВУШКА ИЗ КРАСНОГО ЧУМА

Езжу летом и зимой
ветра вешнего ходчее.
Путь мой светлый и прямой
от кочевья — до кочевья.
И протяжна, как хорей,
бесконечная дорога...
Но зато и новостей
привожу с собой я много.
Детям сказку расскажу,
диафильмы покажу.
Всем, кто грамотен,— журналы,
кто неграмотен— букварь,
чтобы деды вспоминали,
а кто молод — чтобы знали,
как жилось народу
встарь.
В каждом чуме рады мне.
Все волнуются, как дети,
сообщениям в газете
о свершениях в стране,
о событиях на свете.
Так вот: день у рыбаков,
день-другой у пастухов,
а потом, как не бывала,
вновь умчусь, горда немало
тем, что я для земляков
человеком нужным стала.
И опять за окоем
улетит моя упряжка!..

Только
на сердце моем
отчего-то нынче тяжко,
Хоть и нежная, а боль
ноет в нем. Что ей ответишь?
Я не знаю, что с тобой,
помнишь ли мою любовь,
почему за мной не едешь?
Жив ли ты? В каком краю? —
ничего-то я не знаю.
Ни тебя не узнаю,
ни себя не понимаю.
Вот и снова
ночь не спать.
Надо людям объяснять,
что вчера со мною было:
вышла лекцию читать,
а о чем читать —
забыла.
Я нашла бы, но — увы! —
Манчо крикнул: «Тише, вы!»
А Валло сказал угрюмо:
«От любви, — мол, — у Любви
мысли все из головы
вышли вон,
как дым из чума!..»

Лопнула
удачи нить.
Где конец
и где начало?
Как, скажи, мне дальше жить?
Бокари хотела сшить,
глядь — иголку потеряла.
Наклонилась у огня —
повалилась на колени.

А сегодня
и олени
не послушались меня.
Книги валятся из рук,
на луну гляжу часами...
Если б слышал ты, мой друг,
как смеются все вокруг
да пошучивают вслух
над моими
чудесами!..

Холодно в моем балке.
Ветер в печке завывает.
Но хоть все пусть остывает —
не топлю я. Печь тоске
сердце
не отогревает...

Но грущу я все,
грущу,
а приедешь — все прощу!
Буду рада, как весной
травке возле дома...

Важным делом занятой,
мой пропащий,
золотой,
приезжай скорей за мной,
секретарь
райкома!

О ЧЕМ ПОЕТ СТАРАЯ НОНЕ?..

За чумом на травке с шитьем на коленях
(веселый наперсток на пальце проворном сверкает)
о чем поет старая Ноне,
о чем вспоминает?

Быть может, о том, что косички ее озорные
из нарты отцовской еще и виднелись едва ли,
когда увозили из детства ее, от ровесниц,
замуж за старого тэта когда выдавали?

Или как после она олененком-сироткой
горько над тундрой трубила про девичью гордость,
для мужа постылого долгими днями и ночью
над выделкой шкур ненавистных
в чуме продымленном горбясь?

А может, о том, как с годами, забыв о неволе,
в этом же чуме — летом, зимою, в ненастье
над десятью сыновьями — над птенчиками родными —
плакала Ноне гагарой от горя и счастья?

А может быть, Ноне поет, а сама вспоминает
ту сладкую ночь, каких больше уже не бывало,
когда от законного мужа однажды украдкой
к охотнику-юноше, жарко дыша, убегала?

Поет ли о том, как постылый приехал за нею,
за косы таскал вокруг чума, а Ноне смеялась.
Он посох сломал свой о голову Ноне. Да только
боль стихла давно, а о ночи той память
осталась.

О чем же,
о чем поет Ноне? — кто знает.
Не плачет она, улыбается Ноне. И гуси
гогочут в гортани ее, а в глазах ее солнце играет.
О чем поет старая Ноне, о чем вспоминает?

Наверно,
Ноне поет
о любви...

ОТЧЕГО ЫТКЫ ГРУСТЕН

Семь чумов на краешек мыса сошли
и замерли, выгнув гусиные шеи
вечерних дымов. И у самой земли
недвижно глубокие тени легли.
Лишь солнца дорожка играет вдали,
как рыбы косяк, на груди Енисея.

Простор, тишина. В окруженье таком
невольно душа воспаряет над миром.
Лишь Ыткы все кажется нынче постылым
в краю, где он вырос, где стал рыбаком,
а вскоре — и лучшим в селе бригадиром.

Но вот уже несколько дней и ночей
он все не привыкнет к сердечному стуку
и в мыслях все ходит по кругу — за ней —
девчонкой, что с агитбригадой своей
сюда прилетев, полонила округу
и статью, и речью, и песней своей,
в которой он слышал то вешний ручей,
то плач журавлей, улетающих к югу.

В задумчивом пении русских девчат
знакомые чудились звуки и краски:
вот сходит на землю багряный закат,
олешков копытца о камни стучат,
вот шепчут в ночи тундровые ромашки...

С тех пор изменился совсем бригадир.
Что сделала с парнем певунья-девчонка?
Бывало, с бригадой все дни проводил,
а нынче все бродит по тундре один,
как будто и впрямь потерял олененка.

К работе у Ыткы душа не лежит.
Во всякую пору, в любую погоду
он каждой упряжке навстречу бежит,
а катер завидит — к причалу спешит
и машет руками вослед самолету.

Могучие воды несет Енисей
меж двух берегов волшебства и покоя.
Лишь Ыткы слоняется, тучи мрачней, —
прослышал он, будто с одним из парней
покинула Север красивая Зоя.

И душу его угнетает раздумье:
«Неужто на Юге
красивей,
чем в тундре?..»

Из Нелли СУЗДАЛОВОЙ

С ительменского

КОСТЕР

Ю. Шесталову

В дни тоски глухие,
в ночи пурговые
спой со мной, сынок:
«Ия, ия кия,
ия, ия кия,
красный костерок».

И вернутся в сон твой,
внятные едва,
о земле отцовской

древние слова.
Ия, ия кия —
теплые такие.

Разгорайся ярче,
памяти костер,
озари для дочери
цепи древних гор

и родного слога
боль и торжество
донеси до слуха
внука моего,

чтоб и в дни иные
грел сердца, как ныне,
не погас, не смолк
ия, ия кия,—
ия, ия кия,—
ительменской речи
красный
костерок.

ОБЖОРА

Через речку, через гору
вечный голод вел Обжору.
Ох и есть же он мастак!
Как же так?
А вот так!

Съел медведя по дороге,
не спасли зайчишку ноги.
Птицы замерли в кустах.
Как же так?
А вот так!

Вот он вышел на опушку,
увидал охотизбушку —
ни души в семи верстах.
Как же так?
А вот так!

«Хе-хе-хе! — решил Обжора. —
Кто в тайге отыщет вора?
Все припасы съем за так...»
Как же так?
А вот так!

Но застрял в дверях огромный
животище неуемный,
и от боли взвыл простак:
«Как же так?!»
А вот так!..

КАПЛУ*

Человек идет пешком
в березняк за сушняком.
— Эй, постой, ты разве каплу?
— Ну и что, а хоть и каплу!..

Но послушай, не спеши,
торбасишки подвяжи,
видишь, вон у той коряги
на снегу следы неряхи, —
это шел такой же каплу.
— Ну и ладно, пусть и каплу!

* Каплу — неряха, человек, стаптывающий свои торбаса (ительм.).

Нет, глядите на нее:
девка с разумом мальчишки!
У тебя у самое
изорвались торбасишки, —
　　каплу, каплу!.. — Ну и пусть,
　　все равно я не вернусь,

я усилий зря не трачу,
лучше сяду и заплачу.
Вот сижу я и реву,
думаю: зачем живу,
　　горько в снег слезами каплю...
　　А ведь я
　　　　и вправду
　　　　　　каплу!..

Из Андрея КРИВОШАПКИНА
С эвенского

ГУСИ ПРИЛЕТЕЛИ

Неясной разбуженной грустью,
я вышел на хрусткий порог
вдохнуть переполненной грудью
весенней прохлады глоток.

В ночной тишине, издалека,
как в сердце земли, нарастал
гортанный, волнующий клекот
вернувшихся к Северу стай.

То гуси, ликуя устало
у цели пути своего,
над Каменным шли перевалом,
приветствуя дружно его.

И гордости радостный лучик
меня озарил изнутри.
Гляди — не пугают их тучи
и вид неуютной земли.

На юге теплее и краше,
но родина снега и льда
их честной суровостью нашей
пленила уже
навсегда.

ПОЛЕТ

С высоты журавлиного клина,
подавив удивления крик,
в этот день я впервые окинул
моей северной родины лик.

Из глубин винтокрылой машины
захотелось погладить рукой
эти грубые горы-морщины,
и шершавые эти долины,
и прохладный туман над рекой,

провода на могучих опорах
вдоль тайги, где за белкой ходил,
и дымы от костров, средь которых
есть и те, что я сам разводил.

Разжигал для таежного братства,
для попутчиков строгих моих,
с кем в горах открывали богатства
древних недр
и сердец молодых.

Но, к земле прикипая в работе,
ощущали мы с небом родство.
Так случайно ли
в этом полете
у судьбы я прошу
одного:

— Дай мне, жизнь,
на тебя опереться,
испытать до конца повели
это чувство
парения сердца
над простором
родимой
земли!..

Из Алитета НЕМТУШКИНА

С эвенкийского

ТРАССА

Оглушенный неведомым громом,
полный ужаса в теле огромном,
в гуще веток рогами гребя,
сквозь тайгу —
по увалам, уремам —
лось ломился, не помня себя.

Но солярой надушенным франтом,
приодетым в гремящий металл —
вслед лосиному ужасу
трактор
грохотал, грохотал, грохотал.

Хохотала
железная сила!
Стайка птиц на деревьях затихла
и глядела, тиха и горька,
как машина бельчонка настигла,
лисью нору
разворотила,
раздавила гнездо кулика.

Хороша
получается трасса!
Восхитится дорогою пресса,
трактористу воздавши свое...
Но я слышу
стенания леса,
и при виде такого прогресса
содрогается
сердце
мое!..

Из Николая КУРИЛОВА

С юкагирского

ВОЛНЫ

Одна за одной,
волна за волной
к берегу,
и — вдрызг!
Волна за волной,
стена за стеной,
чтобы, как праздник,
стоял надо мной
гул,
фейерверк брызг.

Волна за волной,
голубизной
с небесами синими споря,
смеясь и звеня,
мечут в меня
белые искры
синего
моря.

В НЕБЕ ОСЕНИ

Солнце круглое,
солнце ясное,
красное-красное,
словно крупная
ягода красная —
радостная брусника, —

катится,
катится по небу,
по небу голубому
цвета ягоды,
ягоды-пригубики, —
северной
голубики!

СОДЕРЖАНИЕ

«В середине каменного века...» 5

ЗЕМЛЯ ЗИМЫ

Перед выходом в путь 9
«Как свободно, как просторно...» 10
«До бухты Нольде ровно шестьдесят...» . . 10
«Зима сегодня бесконечна...» 11
«Среди зимы, в полярной полумгле...» . . . 12
«Не курлычут журавли. Не летят...» . . . 12
Прохожий 13
Старый чукча 14
Бунт вещей, собачий холод 15
Власть председателя 17
«Весна не весна. И не лето...» 20
Свет снега 21
Алое сердечко. **Поэма** 23
Станция 32
«Реки таежной шорох тихий...» 34
«То снег, то дождь...» 36
«Но так же, как из года в год...» 36
Охранник 37
Изя Фишер 39
Старатель 40
Отшельник 41
«Наслушаться песен и басен...» 42
«Не ходи тропой лесною...» 42
«Лоснясь от антикомарина...» 43
«В горах, за тридевять земель...» 44

Костер 45
Пейзаж с кобылой 46
Расторгуев 47
«Не мешали бы деревья видеть лес...» . . . 50
«Я задую в тайге небольшой костерок...» . . 50
«Просыпаюсь, как ранняя птица...» 51
«Трудиться ль устала природа...» 51
«В разгар любой поры...» 52
«Мы с тобой живем, как на вокзале...» . . 52
«Милая меня не понимает...» 53
«Ты вольна. А мир — широк...» 53
«В таежном зимовье, в глухой стороне...» . . 54
«Не уснуть. Лишь глаза прикрываю...» . . . 55
«Что-то с тобой случилось...» 55
«Когда б тревога улеглась...» 56
«Вот и вспыхнули в далях березы...» . . . 57
«Шквальный ветер. Мокрый снег. Ни фонаря...» 58
Жизнь. Тайга. Тоска, Досада 59
«Прощание неотдалимо...» 65

НЕРАЗРЫВНАЯ ПАМЯТЬ

Песенка 69
Автобус 70
Фуражка деда 72
Сентябрь 76
«В утлом доме — тишина...» 79
«Гостеприимен дом — спасибо чаю...» . . . 80
«А только станет вечереть...» 81
Пенаты 82
«На излете ли, в зените...» 83
О, догмы детства моего 84
Рисунок по памяти 86
Мамино зрение 88
Мост 89
Поколения 90
Неразрывная память 91

Тревога 92
Инструментальщик. **Поэма** 93
«Я жил безоглядно и юно...» 113
«В том городе, где столько неуюта...» . . . 114
«Уверовав в свою непогрешимость...» . . . 114
«О незабвенный Брут!..» 115
«Тяжело пробужденье поэта..» 116
«Мы пили темное вино...» 117
«Что упало, то пропало...» 118
«Ленивое море осеннего Крыма...» 118
«Не зови меня, не надо...» 119
«Стройна, лукава, шаловлива...» 120
«Чтоб от счастья засияло...» 120
Пятачок 121
Кончина Лехи 122
«Вот ранняя осень беззлобно...» 124
«На краешек луга и леса...» 125
«Я приеду в этот край...» 126

ПОГОЖИЙ ДЕНЬ

«Здравствуйте, друзья зимы!..» 131
Дом в Магадане. **Поэма** 132
«Поэзия, ты — школа высоты...» 143
Провинция 144
«Улыбка — танцора с кинжалом во рту...» . 145
«Человек, оглядывавший горы...» 145
Гость 146
«Я счастлив был...» 147
Буря 148
Дни 150
«Вдруг дойдешь до такого предела...» . . . 151
«Что ты смотришь так оторопело...» . . . 151
Соловьеныш 152
«Зимним днем, когда в тиши...» 153
Акустика 154
«Выйду в скучающий лес...» 154

«За медленным возвратом лета...» 155
«Выходят валенки из моды...» 156
«В разгаре скрежета и гула...» 157
Часы 158
Экспромт приезжего поэта 160
«Не заслуга, быть может, а все ж...» 161
«На заброшенном полигоне...» 162
Ветер века 163
Пора 163
«А меня от всеобщего стресса...» 164
«Мы за жизнь боролись лучшую...» 165
«Распишем роли и судьбу...» 166
Репродуктор 167
«Характеры — навырост...» 167
Над книгой Вийона 169
Три пытки 170
Устные стихи 171
Погожий день 172
«Верил Сталину. Верил Хрущеву...» 174
Закрытый поворот 174
Перед лицом гор 176
«Освоены ветра...» 178
Зло 179
«Идут года. Мелеют реки...» 180
Проворовался лучший друг... 180
Взгляд 181
Сочетанье подлинного с мнимым 182
Ложь цена 183
Поганки 184
«Рассвет еще нежен и розов...» 185
Промывка 185
«Ты не плачь, моя красивая, не плачь...» 186
Семейный театр 187
Портрет 188
В мире животных 188
Сосед 190

Перелетные птицы пустот 191
Зима начальника геопартии 193
Дом у лимана 195
Возвращение к дому 196
В Уэлькале у Вальгиргина 197
«Здесь ветер особенно лют...» 199
«В этих снегах по плечи...» 199
«Если б зимняя певчая птица...» 200
Диалог с поэтом 200
Залив Одиночества 202
«Еще совсем свежи воспоминанья лета...» 204
«Вышел в ночь. И тут же, за порогом...» 204

ЧЕРЕЗ СНЕГА НАИСКОСОК

Из Антонины КЫМЫТВАЛЬ (*с чукотского*)

Чайка 207
Ищу человека 208

Из Михаила ВАЛЬГИРГИНА (*с чукотского*)

Пароход пришел 210
Бригадир 211
Мамины руки 213
Речка проснулась 214
Танцует девушка-чукчанка 215

Из Владимира ТЫНЕСКИНА (*с чукотского*)

Ярар 217
Олень 219
Кэркэр 221
Пурга 223
Мать 224
Вижу морскую волну 227

Из Сергея ТИРКЫГИНА (*с чукотского*)

Мама 228
Пеликен 229

Я не один 231
Помню 232

Из Валентины ВЭКЭТ

Слушай меня, дочурка 234

Из Любови НЕНЯНГ (*с ненецкого*)

Девушка из красного чума 236
О чем поет старая Ноне?.. 238
Отчего Ытки грустен 240

Из Нелли СУЗДАЛОВОЙ (*с ительменского*)

Костер 241
Обжора 242
Каплу 243

Из Андрея КРИВОШАПКИНА (*с эвенского*)

Гуси прилетели 244
Полет 245

Из Алитета НЕМТУШКИНА (*с эвенкийского*)

Трасса 246

Из Николая КУРИЛОВА (*с юкагирского*)

Волны 247
В небе осени 248

ПЧЕЛКИН Анатолий Александрович

ГЛУБИНА ВЗДОХА

Книга стихотворений

Редактор **В. И. Першин**
Художественный редактор **В. А. Галимуллин**
Технический редактор **Н. С. Ганцева**
Корректоры **В. И. Огрызко, Л. З Иванова**
ИБ № 949

Сдано в набор 15.06.89. Подписано к печати 04.10.89. АХ—02599. Формат 70×100/32. Бумага тип. 1. Гарнитура литературная. Печать высокая. Усл. печ. л. 10,4. Усл. кр.-отт. 11,14. Уч.-изд. л. 10,6. Тираж 3000 экз. Заказ 696. Цена 1 р. 40 к. Магаданское книжное издательство, 685000, Магадан, пр. Ленина, 2. Издательство Магаданского обкома КПСС, 685000, Магадан, пл. Горького, 9.

Пчелкин А. А.

П92 Глубина вздоха: Стихи разных лет / Худож. В. А. Галимуллин.— Магадан: Кн. изд-во, 1989.— 253 с., 4 ил.: портр.

ISBN 5-7581-0065-X

Новая книга стихов известного магаданского поэта наиболее полно представляет его творческий диапазон.

